

УТОПИЯ У ВЛАСТИ

РУСОФОБЫ — ЮДОФИЛЫ! ЮДОФОБЫ — РУСОЛЮБЫ!

11

... БОТАЕТЕ ПО ФЕНЕ!

90

ДаугавА



Сигисмунд Видберг.
Из цикла «Страшный год».
Ломятя. 1952

Даугава

НОЯБРЬ (161)

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ
ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1977 ГОДА

ЛАТВИЙСКОЕ ГАЗЕТНО-ЖУРНАЛЬНОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО. РИГА

В НОМЕРЕ:

Проза и поэзия

- 3 *Николай Гуданец*
**Кривоград, или Часы, по которым
кремлевские сверяют.** Повесть
- 36 *Андрис Жеберс*
Татуировки. Стихи
- 40 *Иванде Кайя*
Из дневников (1918—1921 гг.)
- 58 *Ольга Корневская*
Декабрь. Стихи
- 60 *Эдуард Улемаев*
Три рассказа
- Публицистика
- 62 *Михаил Геллер, Александр Некрич*
Утопия у власти
- 72 *Сергей Снегов*
Философия блатного языка

(см. на обороте)

1990

11

В Н О М Е Р Е (окончание):

Из почты «Даугавы»

91 Валерий Сажин
Предыстория гибели Гумилева

93 В. Я. Беленький
Кто нами руководит?

Методіа

96 Федор Губер
Память и письма

57 К нашим иллюстрациям

119 Почта «Даугавы»

Рукописи не рецензируются и не возвращаются

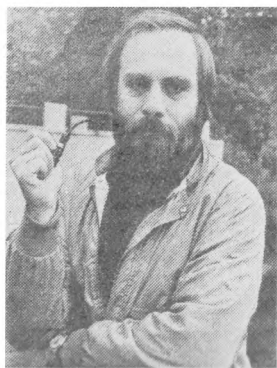
Главный редактор
Владлен ДОЗОРЦЕВ

Редакционная коллегия:

Юрий АБЫЗОВ, Виктор АВОТИНЬШ (зам. главного редактора), Людмила АЗАРОВА, Астрида АЛЬКЕ, Улдис БЕРЗИНЬШ, Николай ГУДАНЕЦ, Юрис ДИМИТЕРС, Вика ДОРОШЕНКО, Вячеслав ИВАНОВ, Марина КОСТЕНЕЦКАЯ, Петр КРУПНИКОВ, Григорий НИКИФОРОВИЧ, Янис ПЕТЕРС, Кнут СКУЕНИЕКС, Ян СТРАДЫНЬ, Янис СТРЕЙЧ, Роман ТИМЕНЧИК, Леонид ЧЕРЕВИЧНИК (зав. отделом поэзии) Адольф ШАПИРО, Андрис ЯКУБАН

Редакция:

Борис ПОПОВ, и. о. отв. секретаря, Роальд ДОБРОВЕНСКИЙ, зав. отд. прозы, Илан ПОЛОЦК, зав. отд. публицистики, Вадим РУДНЕВ, зав. отд. критики, Михаил АФРЕМОВИЧ, зав. отд. писем, Леонид ГУРЕВИЧ, редактор-стилист, Алла ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ спецкорреспондент



КРИВОГРАД, ИЛИ ЧАСЫ, ПО КОТОРЫМ КРЕМЛЕВСКИЕ СВЕРЯЮТ

Повесть

1.

Я сижу в аэропорту и ем лангет.

Больше у них ничего нету. Ни антрекотов, ни бифштексов, ни шашлыка, ни бефстроганова, ни котлет по-киевски, ни осетрины по-московски. Поэтому я сижу и ем лангет. Не то пятый не то шестой по счету.

Сижу я лицом к дверям и вижу очередь у стеклянных дверей ресторана. В ней стоит очень много людей. Может, они хотят есть. А может, хотят просто посидеть, не знаю.

Это все из-за тумана.

Вот как я попал в ресторан. Мой рейс отменили, вообще отменили все рейсы. Естественно, потому что одни самолеты не могут взлететь, а другие не могут сесть. А какой может быть авиарейс без самолета. Сами понимаете, никакого.

До позднего вечера я мыкался по аэропорту. Сидеть негде, все занято. На полу тоже лежат. Положили чемоданы, спят на них, в карты играют, пьют пепси-колу. Я тоже попил, взял бутылку в буфете. В карты играть не люблю, да и не с кем. А чемодан у меня маленький, алюминиевый такой, типа дипломат, на нем не выспишься.

Потом, к полуночи, в ресторане кончился санитарный час, двери открыли, а я как раз околочивался неподалеку. Сразу вошел, один из первых. Сел за столик. Ноги гудят, голова болит, официантка говорит, что только лангеты. Ладно, говорю, несите лангет. Она его битый час несла, так что я хорошо отдохнул.

Русский поэт и прозаик Николай ГУДАНЕЦ родился в Риге в 1957 году. Публикуется с 1974 года. По образованию филолог. В Риге вышли в свет две его поэтические книги: «Автобиография» (1980), «Голубиная книга» (1986), сборник рассказов «Субботние поцелуи» (1984) и повестей — «Покинутые во Вселенной» (1990). Николай Гуданец — участник коллективных сборников фантастики «Платиновый обруч», «Хрустальная медуза», «Пещера отражений». Фантастические рассказы переводились в Польше, Чехословакии, Болгарии, Финляндии.

Сидел, глядел в окно. Там вообще ничего не видно. Один туман, и серебристый, и черный сразу.

Уж на что большой аэропорт Внукодедово, а людей в нем еще больше. Если смотреть отсюда, где я ем лангет, просто страх берет. Сплошная темная масса народу, теперь я понимаю, что такое народные массы, это когда под ними ни кресел, ни пола не видать. А очередь, ихний организованный передовой отряд, топчется у стеклянных дверей. И кажется, все смотрят на меня, и каждый готов меня съесть с потрохами вместо лангета. Потому что я не хочу отсюда уходить, здесь стул мягкий и на стол можно облокотиться. Вот я и заказал себе еще порцию. Знаете, говорю, что-то я не наелся, нельзя ли повторить, будьте добры. Она плечами пожала и через битых полчаса принесла еще. Ей-то что, ей гнать меня нету резона, я сижу и ем, зря место не занимаю.

Только вот голова болит. И живот до того набит, словно я съел разом свои шестьдесят два среднестатистических в год по стране килограмма, вместе с костями, шкурой, салом и обвесом. Приходится передохнуть. Откидываюсь на спинку стула и потягиваю из бокала пепси-колу, изготовленную из концентрата и по технологии. Так на бутылке написано. Вернее, на этикетке. Мелкими буквами. Пить не могу, не лезет, и я делаю вид, что пью, а на самом деле не пью. Чтобы не злить очередь. А может, они ко мне уже привыкли. Может, я постоянный клиент. Или заслуженный человек, имею право. Мало ли что.

Пусть думают, что хотят.

Когда так ломит голову, я плохо соображаю. Даже перестаю толком понимать, кто я такой и откуда взялся.

Вот недоеденный лангет на тарелке, это проще. Я понимаю, откуда он взялся. Где-то вдалеке от Москвы вырастили бычка, возможно, методом арендного подряда. Почему вдалеке, да потому, что в самой Москве бычки не растут. Это же элементарно. Потом бычка отвезли на мясокомбинат, забили, а его прогрессивное, новаторское, арендно-подрядное мясо разделили: это себе, это друзьям, это знакомым, это начальству и вот это начальству, а вот это руководство, нехай подавится, а вон то в магазин и еще чуток в столицу нашей родины, в ресторан аэропорта Внукодедово. Дальнейшее не стоит комментировать, оно тривиально.

Итак, с шестым или пятым лангетом все ясно. А вот как сюда попал я, не совсем. Я сижу в аэропорту, погребенном в толще черно-серебристого тумана. Где-то там, в тумане, стоят мощные лоснящиеся авиалайнеры, их не выпускают в небо. Ничего не видать, аэропорт дрейфует в непроглядном пространстве. Все остановилось, замерло, как самолеты, как лента багажного транспортера, как очередь у стеклянных дверей.

И сам я, как в тумане, вмятина пышет, словно пламень огненный, память пробуксовывает. Наверно, я попал сюда потому, что меня выписали. Значит, я здоров. Но голова болит. Значит, я не выздоровел. Может, мне надоело и я сбежал. Или меня выписали больного. Перепутали, за другого посчитали. Такое тоже бывает. Или вместо меня выписали другого, например Альфегу, и это он здесь сидит и ест, а вовсе не я.

Стоп, ну-ка немножко логики. Она, логика, бывает Аристотелева, бывает Бейесова, а еще нибельмесова, вроде как сейчас. Ничего не понять, кругом туман, закон исключенного третьего не работает,

а что не запрещено законом, то разрешено. И вмятина вгрызается в мозг пульсирующим плазменным сгустком.

Хватит, не надо нервничать, зачем ворошить былое, в моем прошлом сплошные белые пятна. Гораздо важнее будущее, его я знаю назубок. Я еду в Шарыгино брать арендный подряд. И тем внасти посильную лепту в наше общее дело перестройки.

Да, я беглец, но не дезертир. Я возвращаюсь в Шарыгино, на свою малую родину, к отчим корням. Своим трудом буду крепить мощь и процветание. Да, именно туда, к могилам предков, крепить и внедрять, и гордо нести дальше.

Только не надо больше лангетов, ради всего святого. С удовольствием съел бы тарелку анальгина. Но аптечный киоск закрыт, на его подоконнике спит какой-то бич, приходится терпеть эту пытку раскаленным железом.

Прощайте, я здесь больше никому ничего не должен. Свободен, наконец-то свободен, разведен, выписан и уволен, мой новый паспорт чист, как младенец. Ем и пью лицензионную пепси-колу на свои кровные, вчера на Рижском рынке продал усатому отзывчивому кавказцу свое обесмыслившееся обручальное кольцо. Я легок и пуст, как воздушный шарик, с небольшой и горячей вмятиной сбоку на макушке, впрочем. Я особое существо, Человек Без Прописки, *tabula rasa*. В моей пустоте и легкости кроется особая, надмирная свобода.

Человеку с пропиской не дано понять человека без прописки. Если у вас случайно имеется прописка, вам не объять умом то, что чувствую я здесь, во внукодедовском ресторане, над полусъеденным лангетом с неясным порядковым номером. Кстати, можно спросить у официантки, она же в блокнотик записывала.

Впрочем, речь идет о прописке. Она — как воздух, ее не замечаешь, если нет ветра или тумана. Просто дышишь ею, ни на миг не задумываясь о том, что в твоём серпастом и молоткастом паспорте стоит прямоугольный штампик со вписанными адресом и датой. Но вот если ее нет — ты уже недочеловек, унтерменш, абсурдный артефакт, которому нет места под солнцем. Тебя не пустят в гостиницу, твой брак не регистрирует ЗАГС, у тебя не примут золотое кольцо в скупке, наконец, тебя не примут на работу. На работу нельзя без прописки, без работы негде прописаться, а чтобы прописаться, надо жениться, пусть фиктивно, а чтобы жениться, даже фиктивно, надо иметь прежде всего прописку. И если ты, по несчастью, дипломированный физик, а не лимита перекатная, у тебя один путь — в Шарыгино, к родным корням, на арендный подряд. Всего-то родни на свете осталось, что двоюродный дядя Матвей, всей-то надежды — на перестройку аграрного сектора.

Если б не Рижский рынок и не великодушный продавец квазиимпортных штанов, купивший у меня кольцо по цене брюк с лейблом «Монтана», ночевал бы я на вентиляционной решетке метро, как пить дать. И был бы я не будущий шарыгинский фермер, надежда и оплот нашей кровной перестройки. Был бы я бомж, сиречь Без Определенного Места Жительства — зеркальный двойник подпоручика Кижже, скорбный персонаж в графе милицейского протокола. Купил, купил у меня кольцо мой благодетель, сын гордых кавказских хребтов, индивидуальный трудовой деятель, купил и тем самым смысл незаслуженный позор, причиненный приемщицей скупки. И наполнил мой карман живительным шорохом руб-

лей, так легко конвертируемых в авиабилет, пепси, лангеты, словом, жизнь и слезы, и любовь — к малой родине, разумеется.

Хоть я и торчу в аэропорту, а вокруг туман, все равно я уже сорвался и лечу, свободный и легкий, к неминуемо светлому будущему.

Тут я сообразил, что сижу ведь за двухместным столиком и могу завязать разговор со своим визави. Тогда необязательно давиться лангетом, пусть стынет себе на тарелке, а я буду захвачен содержательной и непринужденной беседой.

Пока я набивал сверху донизу свой пищеварительный тракт, за моим столиком перебивала уйма народу. Сначала девушка, причем некрасивая, кажется; потом офицер, если не ошибаюсь, погранвойск; затем старуха, похожая на сэра Исаака Ньютона из учебника для энного класса, страница номер . . . забыл.

А теперь передо мной сидел, дожидаясь заказанного яства и брашна, пожилой человек в очках, удивительно похожий на чудака Альфегу. То есть, если снять с него очки и надеть на Альфегу, то не отличить. Я даже подумал сначала, что он сбежал и маскируется, но потом уловил разницу. У того глаза туманные, с поволокой, словно бы смотрят одновременно и наружу, и вовнутрь. А у этого цепкие, чуть прищуренные, и навряд ли они хоть раз в жизни заглядывали в душу своего владельца, он им такой чепухи не позволял, да и некогда было. Понял я, что вовсе не собрат мой по больнице сидит напротив. Однако случайное сходство приободрило меня.

— Скажите, пожалуйста,— начал я, на ходу приискивая светскую, ни к чему не обязывающую тему.— Не поможете ли вы мне разгадать один ребус?

— Ну... это смотря какой,— подумав, молвил лжеАльфегу.

— Допустим, человек купил золотое кольцо. Обыкновенное, обручальное, за сто сорок рублей. Так? Потом, предположим, он несет его в скупку, и там его оценивают в семьдесят рублей. Вот объясните, разве это не абсурд?

— Не,— с ходу ответил мой собеседник.— Фухня это, а не ребус. Покупаешь по новой цене, а сдаешь по старой. И весь компот.

— Нет-нет, погодите,— загорячился я.— Ведь тут же золото, понимаете? Оно не может вдруг обесцениться вдвое. Это же всемирный эквивалент.

— Кто тебе сказал про эквивалент? — ухмыльнулся он.

— Знаете, если не ошибаюсь... Это Маркс сказал. Да-да, Маркс, именно он.

— Эт какой же? Тот самый, что ли?

— Да, тот самый. Основоположник.

— У него, конечно, сельсовет варил будь здоров,— мой собеседник уважительно постукал пальцем по своей прореженной шевелюре.— Но старик одного не учел. Они — не мудаки. Они своего не упустят, эт точно.

— Кто «они»? — не понял я.

В ответ он указал пальцем вверх, сквозь бетонные плиты потолка и туман, туда, на кладезь бездны, где в черной опрокинутой чаше небес торжественно сияют Марс и Венера, Орион и Альтаир, Крабовидная туманность, Млечный путь и волшебный пояс Зодиака, где неприкаянно шныряют летающие тарелки, дурача легковых простаков и вдребезги разбиваясь об академический

скепсис, превращаясь под его леденящим оком в облака, шаровые молнии и прочую заурядную атмосферную чепуху.

— Понял? — спросил двойник Альфеги.

Я мистических намеков не воспринимаю, однако кивнул. Мало ли какие у человека убеждения.

Официантка оборвала едва завязавшийся разговор, подав моему собеседнику порцию лангета и пепси-колу. Минут пять мы дружно и молча жевали, причем я делал вид, что жую, прилежно обрабатывая кусочек мяса размером с ноготь.

— Студент, что ль? — спросил вдруг он.

— Нет, что вы. Я давно окончил университет.

— А по какой части?

— То есть? А, понял. Физик. Физик-экспериментатор.

— Хорошо... — донеслось до меня сквозь перемалываемый лангет и слюну. — Ув-важаю. Физик...

— Значит, от жены ушел, кольцо загнал? — сглотнув, продолжил он, обнаружив поразительную проницательность. — Ничего, дело житейское. Ночуешь тут или летишь куда?

— Улетаю, — сознался я. — Насовсем, к себе на малую родину. Шарыгино, может, слышали?

Наморщив лоб, он покачал головой.

— Н-не. Сам понимаешь, страна большая...

И опять углубился в еду.

Мне вдруг стало стыдно перед этим пожилым человеком, таким доброжелательным и открытым. Ведь фактически я лгал ему. Я скрывал свою правду. Ничего не сказал о приемщице, рывкнувшей презрительно, мол, че суешься без прописки, швырнувшей мне обратно кольцо и пустопорожний паспорт. Вся очередь услышала, стыд какой. И потом, я больше не физик, отныне я арендатор, возвращенец к земле, неокрестьянин новой эры...

— Там у вас, в Шарыгино, институт научный, что ли? — спросил квазиАльфега.

— Да нет. Я из московского института уволился. Вернее, меня сократили. Знаете, сейчас везде сокращают. А Шарыгино — это село такое, я оттуда родом. Теперь возвращаюсь. К своим корням, как говорится.

— Интере-есно. Учителем в школу, что ли?

— Вы не угадали. Я хочу стать арендатором. Взять бычков на подряд. У меня там дядя Матвей, он бухгалтер.

Он вдруг сочно, совсем необидно расхохотался. Глядя на него, я тоже улыбнулся и решил поставить точку, не объяснять, почему я так решил. Он и сам понимает, что надо кормить людей, что важнее заботы сейчас нет.

— Ловко, — заметил он, отсмеявшись, сняв очки и протирая согнутым пальцем увлажнившиеся глаза. — Здорово придумал. А в каком институте, любопытствую, работал?

Застыгнутый врасплох, я смешался и чуть не опозорился. Ведь я забыл название, начисто забыл. Можно справиться в трудовой книжке, она в чемоданчике под стулом. Но так унижить себя я не смог. И потому солгал, да, солгал, нагло пустил пыль в глаза, спасая остатки самолюбия; нет мне прощения и оправдания, ибо я намеренно, из шкурных побуждений обманул человека.

— В секретном, — сказал я.

И вмятина в черепе жарко запульсировала — проклятое, ино-родное вместилище пустоты, она вторглась в мозг и не пускает

ко мне мою память, лишь бесформенные обрывки огибают ее зигзагом, по хитросплетениям нейронов, обходным путем, и не дают мне превратиться в абсолютное ничто, мычащее и пускающее слюни человекоподобное.

— Ага, понимаю, — уважительно кивнул собеседник.

— Ну а заниматься приходилось проблемами относительности времени, — добавил я уже честно, словно надеясь искупить омерзительную ложь и радуясь внезапному, как блиц репортера, проблеску воспоминаний. — Да, знаете, ставил опыты с мазерами, это такие часы, водородные.

И тут грубоватое, мясистое лицо Утятьева (его звали именно так) просияло. Так бывает, когда Фортуна отверзает свои бездны, полные даров; раскрывается книга жизни, написанная внутри и от-вне; выскакивает из ванны Архимед; Колумб ступает на берег Вест-Индии; яблоко падает на голову Эйнштейну; и все такое прочее.

— Вот так-та-ак! — воскликнул. — Нет, ну надо же... Это ж надо... Ну, бляха-муха...

Я смущенно пожал плечами. А Утятьев весь лучился, как солнце, сияющее в силе своей.

— Физик! — он выстреливал один за другим пальцы из волоса-того кулака. — Развелся! Уволили! Уезжает из Москвы!

Согнутый мизинец задержался, прильнув к ладони. А я не понимал, почему сжатый перечень моих бед так радуется незнакомого случайного собеседника.

— Прописка есть? — спросил он.

— Нету, — понурился я.

— Без прописки!! — возгласил Утятьев, привстал и хлопнул меня распяленной пятерней по плечу. — Милый мой, тебя-то мне и надо... Это ж... перст судьбы, не иначе.

Вот тут-то он спохватился наконец, протянул ладонь для рукопожатия и сообщил, что он Утятьев. Фамилия такая, значит.

— А менялевой зовут, — представился я.

— Еврей, значит, — понимающе кивнул он.

Обычно такие вещи думают про себя, а Утятьев подумал вот вслух.

— Почему же? — возразил я. — К примеру, Лев Толстой, разве он еврей?

— Кто его знает...

— Послушайте, — спросил я осторожно, чтобы не обидеть его. — А вы что, антисемит?

— Не... — заулыбался он. — Мы интернационалисты. И потом, среди них тоже полезные бывают. Только вот уезжают, заразы. А ты потом расхлебывай за них.

— Что расхлебывай?

— Да то самое. Начальник за все в ответе. Уехал от тебя еврей в Америку? Уехал. Значит, плохо ты его воспитывал. Родина его, гада, не воспитала, школа не воспитала, партия, комсомол и профсоюз не воспитали, а начальник отдувайся.

Я не нашелся, что тут сказать, и машинально съел кусочек лангета.

— Ты уж не взыщи, — продолжал Утятьев. — Хотя ты с виду и не похож, однако физик, Лева... Сам понимаешь. Извини.

— Ничего страшного, — ответил я. — А фамилия моя Русских. По отчеству Григорьевич.

— Да хрен с ним, хоша бы и еврей, — вздохнув, рассудил он. — Куда от них денешься.

Толпятся у ворот двенадцать колен сынов Израилевых, на двенадцати воротах написаны их имена; они покидают страну ОВИР, а полчища начальников пьют вино ярости из чаши гнева, не будут они иметь покоя ни днем, ни ночью.

— Ладно, Лева, — приступил к делу Утятьев. — Давай напрямки. Поехали со мной к нам, в Кривоград. Поехали, не пожалеешь. На хрена тебе твое Шарыгино сдалось, коровам хвосты крутить. Ты же физик. Тебя государство учило, тратилось. А у нас, понимаешь, водородные часы без присмотра. Человек уволился, ставка свободная, сто сорок и еще квартальная. Поехали, друг. Дело тебе говорю.

Вот так, наперекор декартовскому детерминизму, вдруг раскрывается книга судьбы, с треском отлетают ее печати, и ветер без разбора листает страницы.

— А какой у вас институт? — заинтересовался я. — Ведомственный или при академии?

— Да не, зачем институт, служба у нас такая, контора морковкин хвост, а я отделом заведую. Служба точного времени при городском комбинате благоустройства, понял-нет?

— Богато живете, — удивился я. — Неужели у вас в городском комбинате есть свой мазер?

— Так я ж тебе про то и толкую. Маузер-шмаузер самый натуральный, и место свободно. А ежели до нового года не забьем ставку, у нас ее срежут, и останемся мы на бобах . . .

Я не совсем уразумел, что значит «забьем» и «срежут». Впрочем, если с Утятьевым завести беседу о постоянной Планка и принципе Гейзенберга, рассчитывать на понимание тоже не приходится. Тем более, после больницы я сам толком не помню, что это за фамилии.

Хищно зыркнув по сторонам, он нагнулся и полез в портфель, потом стащил со стола фужер, сунул руки под свисающий край скатерти, словно заправляя фотопленку в кассету. Чмокнула пробка, булькнула жидкость.

— Давай посуду, — велел он, ставя на стол свой фужер с осветленной, сильно разбавленной пепси-колой.

Поскольку я с запозданием уяснил, что имеется в виду, Утятьев сам взял мой фужер.

— Ну, хлопнем, что ли, — предложил он, закончив свои манипуляции. — За Рождество, за встречу, за удачу.

— Вы знаете, вообще-то . . . — засмутился я. — Мне пить нельзя. Врачи не велят.

— Язва, что ли?

— Да как вам сказать . . .

— Всех врачей посылай нафуй, — приказал Утятьев. — У меня один друг за две недели язву вылечил. Спиртом. Давай-давай, а то обижусь.

Я не смог более отнекиваться. После больницы я, кажется, сильно переменялся, не могу никому ни в чем уступить. Понимаете, это ведь просто невозможно — не уступить человеку, если он настаивает.

Ну вот. Жидкая молния пронзила мой пищевод, и туман прильнул к самым глазам. Утятьев крякнул и закусил гарнирной капустой марганцовочного цвета.

— Хороша, да? — спросил он. — Моя фирменная, сучок марки Дед Мороз.

Опять я ничегошеньки не понял, но на всякий случай кивнул.

— Так что, друг? — интимно и общечеловечно произнес Утятъев. — Поехали к нам, в Кривоград?

— Да я бы с удовольствием... Только вот, понимаете, а как же Провольственная программа? Ее же решать надо, — туман уже просочился в голову, и я рассуждал сбивчиво. — Вы только посмотрите, какие всюду очереди и еще без очереди, и с черного хода... Нам бы накормить для начала, ну там, героев, инвалидов и депутатов... кавалеров трех степеней... им же обидно, если можно без очереди, а все равно купить нечего... в конце концов, они же все не съедят, другим тоже останется, кому голяшка, кому рулька... А я бы мог бычков взять... на аренду. Вот, как эти... архангельский мужик и еще один... из Белоруссии, кажется; бывший алкоголик, я по телевизору видел... А страна большая, они ж вдвоем не справятся, у нас же одних депутатов вон сколько и еще герои труда... А если я возьму подряд, и кто-нибудь другой тоже... Уже четверо, понимаете?

Пока я разглагольствовал, Утятъев наполнил фужер и сунул мне в руку.

— Хороший ты парень, Лева, — произнес он. — И в жисти нифуя не понимаешь, одно слово, физик. Давай-ка вмажем, и я тебе все объясню, как на духу.

Жидкая молния, туман и стеклянное море, смешанное с огнем; я забыл обо всем на свете, даже об очереди, исполненной укоризненных очей. Утятъев объяснял.

— Этот самый подряд — сплошная фухня. Не для того мы, Лева, кровь проливали, чтоб себе на голову буржуев плодить. У нас с ними все просто, им Кирпичов, эт секретарь наш, ни дыхнуть, ни пёрнуть не дает. Хошь аренду? Бери, сука, наживайся на все-народной беде. Только технику тебе — фиг, корма — хрен с маслом. Сам крутись, доставай, покупай, подмазывай. Никто с тобой нянчиться не будет. Может, кое-где с ними и возьятся, так, для показухи. Условия создают. А у нас очень строго. Хошь жить по волчьим законам частного предпринимательства? На, живи. Сам сбежишь через месяц. Брось, Лева, не пори фухню. Пропадешь вместе с бычками, как фриц под Сталинградом.

Я пригорюнился. Умом я понимал, что Утятъев прав, он зрелый человек и знает жизнь. Но сердцу никак не верилось.

— Может, это у вас — так, — предположил я. — Может, в Шарыгино по-другому...

— Да пойми ж ты, чудак-человек, — горячо втолковывал он. — Ежли где и завелся какой ни на есть арендатор, так только потому, что линия такая. Ясно тебе? Ли-ни-я, усек?

— Да, — кивнул я. — Это... сейчас вспомню... кривая, в каждой точке у которой — перегиб.

— Во-во. Надо, чтоб каждую неделю из райкома звонили и стружку снимали. Мол, сколько у тебя арендаторов, сукин ты сын, и как ты о них заботишься, блядь такая. Тогда будут крутиться, упираться рогом, терпеть этих рвачей на своей трудовой шее. А ну как райкому надоест звонить? Или переменится линия? И все, звездеч. Вон у нас, в республике, ведь ни одного арендатора нету. А почему? Очень просто. Указание дано, партийным органам в это дело не соваться вообще. Ну и звездеч. Кто тебе корма даст,

если их не хватает, для себя не хватает, факт! Отыскался, правда, один отчаянный, взял сотню телков и бился как рыба об лед. Так ему соседи красного петуха подпустили, а когда попробовал он тушить, рыло начистили. До сих пор он все жалуется и лечится, а толку никакого. Брось, Лева. Давай-ка лучше дербализмом за нашу встречу.

Дербализнули.

До чего странно, до чего чудесно устроена жизнь. Наивный слепец, я чуть не вверг себя в огненное и серное озеро арендного подряда. И явился Утятьев, лицом подобный Альфеге, и спас меня, и ускоренно перестроил, и дал звезду утреннюю — вакантное место в городской Службе точного времени.

— Так вы говорите, Кировоград? — уточнил я. — Это, кажется, на Урале?

— Не, ты не путай. Кировоград на Украине, а на Урале Кировград. Потом еще есть три Кирова и шесть Кировсков. Это все не то, — предостерег меня Утятьев. — Я тебе говорю: Кри-во-град, понял-нет? Столица Кривичской АССР.

— А разве есть такая?

— Ну ты чудак-человек. Как не быть, если я там живу.

— Резонно, — кивнул я.

Страна у нас большая, чего в ней только нет. Очень большая страна. И потом еще, годы застоя. Прежде я и не подозревал, что где-то есть, скажем, Нагорно-Карабахская автономная область или крымские татары. Это теперь мы постоянно узнаем что-то новое. В такой большой стране рано или поздно натыкаешься на что-то абсолютно неизведанное.

И я почувствовал себя не то Колумбом, не то Лазаревым и Вестингаузом.

— Согласен, — сказал я, лихо пристукнув кулаком по столу. — Поехали, друг. Хоть сейчас.

Сияющий Утятьев сунул мне в руку фужер.

А как нас выгнала взащей и с треском официантка, я не помню. Про это мне Утятьев рассказал уже в самолете.

2.

Ну вот, я сижу в самолете и лечу в Кривоград.

Удивительный человек этот Утятьев. Когда мы с ним проснулись в обнимку на полу, возле киоска «Союзпечати», я долго не мог сообразить, где я, кто и почему тащит меня к кассе, сдает мой билет, а потом покупает другой, до Кривограда. А это как раз и был Утятьев.

Он сунул мне в руки паспорт, билет и шесть рублей сэкономленных, и только тогда я наконец обрел дар речи.

— Погодите, — сказал я. — Ведь вы мне взяли билет на восьмое января.

— Ну да.

— Это что же получается, мне тут сидеть две недели?

— Спокойно, друг, — ответил Утятьев. — У меня у самого билет на шестое. Значит, полетим вместе.

Тут я подумал, что это все-таки Альфеге, сбежавший из больницы.

— Вишь, какое дело, — принялся объяснять он. — Я тут сам задержался. Обратный билет сдал, пришлось вот брать, какой есть. Если б эти мудаки правильно бумажки оформили, я б еще позавчера

был бы дома. Представляешь, выдали мне заявку на установку в отдел внешних пружин.

— Каких пружин? — не понял я.

— Обыкновенных, дверных. У нас, понимаешь, входная дверь двойная, понял-нет? А нашим мудакам лень вторую дверь захлопывать. Тамбур тесный, впереди лестница, направо подвал, а налево сортир и наш отдел. И если вторая дверь приоткрыта, нам свою дверь, из отдела, никак не открыть. Значит, надо орать наверх, чтоб кто-нибудь спустился, закрыл дверь, тогда мы свою откроем . . .

— Ничего не пойму, — сознался я.

— Ладно, сам все увидишь. В общем, я выписал командировку и махнул в Москву. Один хрен, под конец года надо командировочный фонд спустить, а то срежут. А тут, в Москве, меня начинают перебрасывать от одного мудака к другому. Оказывается, эта вторая дверь считается уже внутренней, и надо с этим делом идти в отдел внутренних пружин. А там сидит эдакий мудака, морда поперек себя шире, и говорит, что заявка-то в отдел внешних пружин, пишите, говорит, новую. Потыкался я туда-сюда, потом звоню к себе в контору и говорю, чтоб срочно сбавили новую заявку и прислали с проводником, понял-нет? В общем, сдаю обратный билет, на третьи сутки встречаю поезд ни свет ни заря и с заявкой в зубах бегу опять в отдел внутренних пружин. А там этот мудака говорит, что мои мудаки опять неправильно заявку оформили. Они бланк взяли нашей конторы, а печать поставили комбината благоустройства, понял-нет? В общем, завернули меня назад, несолоно хлебавши. Только больше я не поеду, хрен им в рыло, pošлю по почте. Через полгода они пружину утвердят, ну и пес с ними, я ее покудова нелегально прибью.

— А зачем это все надо?

— Что зачем? Пружина зачем? Так я ж те объясняю . . .

— Нет, я говорю, зачем утверждать в Москве пружину. Честное слово, не понимаю.

— Ты прям как с Луны свалился, — удивленно развел руками Утятев. — А что бы тогда все эти раскормленные московские мудаки делали? Работать бы пошли, вот что. Это понимать надо. Таких пидоров к работе подпускать нельзя, они ж вообще все изгадят, обосрут и пойдут на повышение. А так от них пользы нету, зато и вреда особого тоже нет. Усек?

— В общих чертах — да, — слукавил я, чтобы не огорчать Утятева. — Только когда же мы полетим, с нашими-то билетами?

И тогда многоопытный Утятев поведал мне, как улететь из аэропорта в любой день, в любом направлении. Оказалось проще пареной репы.

Допустим, нам нужно в Кривоград сегодня. Очень хорошо. Вот мы и берем в кассе билеты на Кривоград на любое число, какое есть. Только не надо покупать билеты на Одессу, Мурманск или Красноярск, если вам туда не надо. А потом с этими билетами мы идем к стойке регистрации и встаем в конец очереди. Когда всех пассажиров регистрируют, обязательно окажутся свободные места, хотя бы два, нам с Утятевым больше и не надо. Может, кто-то заболел, или опоздал, или попал в аварию, или залетел по пьянке на сутки, или просто передумал лететь и сдал билет. Мало ли что в жизни случается. А мы как раз и попросимся на свободные места, от Аэрофлота не убудет, он деньги с нас уже получил. А на наших местах, шестого и восьмого, полетят другие

люди, которые, скажем, взяли билеты на восемнадцатое и двадцатое, и мы их очень здорово выручим — незнакомых нам людей, которым, как и нам, до зарезу надо попасть в Кривоград. Так оно и идет, очень просто и удобно. Я даже удивился, почему остальные пассажиры не летают по утятьевской методе. Видимо, из-за элементарного незнания. Все недоразумения на свете случаются от недостатка информации. Или от ее избытка.

Ну вот. Мы улетели из Москвы первым же кривоградским рейсом, к полудню, когда туман стал рассеиваться. Самолет разогнался и круто взмыл кверху; вдруг я понял, что не люблю Москву. И никогда ее не любил. Я получил в ней высшее образование, создал семью, работал, лечился и развелся, но этот огромный город всегда казался чужим и чуточку ненатуральным, похожим на гостиницу во время учебной пожарной тревоги. И вот я улетаю в неведомый Кривоград. Может быть, там мне будет лучше. Может быть, там я найду свое призвание и большое человеческое счастье.

Очень удачно мы с Утятьевым уселись в салоне — кресла в самом хвосте, вплиты к переборке. С некоторых пор я терпеть не могу, если кто-то сидит или стоит, или ходит у меня за спиной. Гораздо лучше ощущать сзади прочную, надежную плоскость. Будь то стена, забор или самолетная переборка. Правда, Утятьев ворчал, что, мол, хренуевые места, спинку кресла не откинуть, не отдохнуть по-человечески. Я не стал с ним спорить. О вкусах не спорят. Вот я и не стал. Тем более, у нас теперь плюрализм.

Тут мне пришла в голову замечательная мысль, просто замечательная. Вот Утятьеву не нравятся наши места. А мне, наоборот, нравятся. Это же самый настоящий плюрализм. Но спорить тут не о чем, все равно других мест нам никто не даст. Хотя можно было бы и поспорить, если есть охота. Никто ведь нас за это из самолета не выкинет. Хочешь — спорь, а хочешь — молча лети, опять же получается плюрализм, уже двойной, точнее говоря, возведенный в степень эн, где эн равняется двум; плюрализм в квадрате; прямо-таки засилье плюрализма какое-то.

Все-таки моя умственная потенция потихоньку возобновляется, раз я смог построить такое длинное и гладкое рассуждение, притом без посторонней помощи, да еще в уме.

Я хотел было поделиться с Утятьевым плодами моей мысли, но тут по трансляции стали объявлять, куда мы летим, сколько тысяч километров, время полета и на какой высоте он проходит. Обрадовавшись случаю потренировать память, я стал запоминать данные, но в результате забыл, что хотел сказать Утятьеву, и ничего не сказал.

Зато запомнил, что мы летим на высоте десять тысяч метров, а остальное как-то ускользнуло. Я не стал огорчаться, все-таки запомнил хоть что-то, значит, и память начинает мне повиноваться. И я стал тренироваться дальше. Десять тысяч метров — это, кажется, десять километров. Не так уж много. Можно пешком пройти за два часа. А можно проехать на такси, за два двадцать. Частником дороже, особенно ночью. Допустим, деньги у меня есть. А что касается такси, то с ними вечные проблемы, иной раз лучше пройти пешком за два часа. Тут я мысленно обругал себя дураком, ведь мы летим в самолете, в нем такси не поймашь. Однако мне не удалось вычислить, за какое время самолет пролетит эти десять километров. Его скорость то ли не сообщили, то ли сооб-

щили, но я забыл. И еще предстояло вспомнить, что на что следует умножать, скорость на расстояние или наоборот.

Хотел спросить Утятьева, вдруг он знает. Хотел, да не получилось. Ни с того ни с сего Утятьев привалился ко мне плечом и, брызгая слюной в ухо, стал рассказывать про кривичей, какое это древнее и могучее племя, не чета всякой там шпане вроде полян, древлян и русичей, ведь кривичами были Ярослав Мудрый и Нестор, Пересвет и Ослябя, Иван Калита и Дмитрий Донской, Александр Невский, Минин, Пожарский и Сусанин тоже, а еще Болотников, Разин и Пугачев, к тому же протопоп Аввакум и князь Курбский, ну и Суворов с Кутузовым, конечно, и Ползунов с Кулибиным, и братья Черепановы, само собой, Попов и Яблочков, не говоря уже о Ермаке, Малюте Скуратове, Бенкендорфе и Победоносцеве, а Гришка Огрепьев и Гришка Распутин были чистокровнейшими кривичами, а Керенский только напопоину, по матушке, в отличие от Столыпина, который был по бабушке, а вот в Смольном собрались одни сплошные кривичи, это факт. И выходило, что именно кривичи смахнули к едрене фене буржуев из Временного правительства, и разогнали антинародную Учредилку, и отдали рабочим заводы, крестьянам землю, а власть, натурально, Советам, и принесли мир народам, особенно близлежащим, и запретили все неправильные партии, кроме своей, и разбили на хер беляков, и освободили народы Востока, и чуть не освободили Польшу, зато освободили Грузию, и сделали труд почетной воинской обязанностью, и подавили мятежный Кронштадт и политически незрелый Тамбов, и ввели продналог, и временно отступили, а потом осуществили коллективизацию и индустриализацию, и стали бороться с кулаками, троцкистами и шпионами, а также вредителями и уклонистами, и чуть не освободили Финляндию, но та почему-то не захотела освободиться, и тогда освободили Прибалтику от ихних дурацких правительств, предварительно поделив с дружественным Гитлером Польшу, а потом разгромили вероломного Гитлера и освободили всех, кто попался под руку, и стали бороться с космополитами и врачами, а еще с проститутками империализма, но тут помер Сталин, и кривичи шлепнули Берию, развенчали потихоньку Сталина и разогнали антипартийную группировку и примкнувшего к ним, и спасли народ Венгрии от ихнего руководства, и рванули напрямик в светлое будущее, стали поднимать целину и догонять империалистов, а потом оказалось, что Хрущев был кривичем только по бабушке, и его скovyрнули к чертовой бабушке, и поставили во главе самого чистопородного кривича, и стали бороться с волюнтаризмом, и спасли чехословацкий народ от социализма с человеческим лицом, а потом построили развитой социализм, ведущий экспортер сырья, свободный от антагонистических противоречий, и утвердили, развернули, упрочили и увенчали, стали сеять в Казахстане, а жать в Оклахоме, и боролись тогда разве что за мир во всем мире, особенно за мир и счастье братских афганцев, но те почти поголовно оказались бандитами и не пожелали ни нашего мира, ни своего счастья, и еще заодно боролись за трудовую дисциплину и с нетрудовыми доходами, а потом стали бороться с пьянством, бюрократизмом и сталинщиной, а также с загрязнением природы, но не успели толком доборотся, как пришлось бороться с экстремизмом, национализмом и самогонщиками, а дальше не помню, ибо я уснул.

И приснился мне такой сон, даже боязно стало. Хотя у нас нынче

перестройка и гласность, даже политических вон освобождают, все равно сделалось мне как-то не по себе.

А сон был такой. Стою я в Питере, возле арки Генштаба, и вижу, как народ идет Зимний брать. Все такие серьезные, насупленные, оборванные. Кричат: «Долой бюрократов! Дашь аренду! Всех на хозрасчет, мать вашу перетак!!» И до того я перепугался, что прорнулся.

Чтобы пойти в туалет, пришлось будить Утятьева, я у окошка сидел, а он со стороны прохода. Самолет глухо ревел, продираясь сквозь атмосферу, натужно пожирая керосин. Почему-то я стал думать о прогнозах Римского клуба, о том, что рано или поздно мы сожжем всю нефть и загадим всю атмосферу парниковым эффектом. Полярные шапки тогда растают, Багамы потонут, Мальдивы потонут, Голландия потонет, Прибалтика потонет и наконец утихомирится. А потомки будут материть нас за сгоревшую, разбазаренную нефть. Мы же сейчас все равно что книгами топим печку. Вот именно, сжигаем гениальные сочетания углеводородов, уникальное сырье, которое никогда не возобновится. Но тут ничего не поделаешь, поэтому я спустил воду и вернулся в салон.

— Ну как твоя язва? — спросил Утятьев, пропуская меня на место. — Не беспокоит?

— Вроде бы нет . . .

— То-то.

Только тут я сообразил: моя головная боль прошла. То ли от лангетов, то ли от утятьевской самогонки, поди разберись.

Если вдуматься, даже странно, почему вмятина в моем черепе так болела. Ведь вмятина — это пустота, а пустота болеть не может. Я стал развивать свою мысль, а самолет натужно ревел, пожирая керосин, мешая думать. В известном смысле наша Вселенная состоит не из материи, а как раз из пустоты. На микроуровне — сплошные зияния, на мегауровне — тоже. Стоит собрать всю материю компактно, ужать, устранить промежутки, и вся наша Солнечная система поместится в ведре. Может, в эмалированном, а может, в жестяном, это не так уж принципиально. Вообразите — Солнце, Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер и прочие планеты, а еще метеоритный пояс, астероид Высоцкий и комета Галлея, и все в одном ведре. Очень впечатляет, если ведро не дырявое, конечно.

По трансляции объявили, что мы идем на посадку, и попросили пристегнуть ремни. Я пристегнул, а Утятьев просто так накинул ремень поперек живота.

— Просили пристегнуться, — смущаясь, напомнил я ему.

— А, один хрен, ежели гробанемся, никакой ремень не спасет . . .

Самолет задрожал, ныряя по воздушным ухабам, и вошел в облачный слой.

— Что это у вас в Кривограде облака такие черные? — поинтересовался я, глядя в иллюминатор.

— От промышленности, — исчерпывающе объяснил Утятьев.

— А как насчет экологического движения? Наверно, неформалы на каждом углу митингуют? . . .

В ответ Утятьев крепко, до боли стиснул мое запястье и наклонился к самому уху.

— Тихо ты, — прошипел он. — Думай, что говоришь. Это тебе не Москва . . .

Самолет приземлился.

Сел он как-то странно, подозрительно сел. Очень сильно трянуло при посадке, а потом он заскользил наклонно, вперед и вверх, словно взлетал, а не садился. Между тем самолет встряхивало на стыках бетонированной дорожки, и мелкой тряской отзывались включенные тормоза. В недоумении посмотрел я в иллюминатор и увидел, что самолет мчится в гору, по просторному бетонированному склону. Что впереди — не видать, обзору мешало крыло, над которым я сидел.

— Ну, слава Госсподи,— выдохнул Утятев.— Сели.

— Что происходит? — забеспокоился я.— Это... вынужденная посадка?

— Да не... Обыкновенная нормальная посадка. Слава Богу, не нагребнулись.

— Но почему так странно, почему вверх по склону? — не отставал я.

— Уж такой аэропорт у нас в Кривограде отгрохали. Высокоэкономичный, понял-нет? Единственный в мире аэропорт на холме. Взлетают вниз по склону, разгоняются, значит, а садятся, наоборот, в гору. Экономия горючего получается.

— Не пойму, вы шутите, что ли,— заерзал я у иллюминатора, стараясь разглядеть окружающее.

— Да не, как там шутки, — тут Утятев перешел на шепот. — Ты, брат, вопроса не заострай, мало ли кто тут сидит по соседству. Подумаешь, аэропорт на холме, эка невидаль. Зато народный керосин экономится, понимать надо...

Я вспомнил о прогнозах Римского клуба, пускай они и ошибочны, а нефтепродукты экономить надо. Иначе грядущие поколения нас не похвалят, ох, не похвалят. Для кого ж мы тогда так живем, если не для грядущих поколений. А они тоже будут жить для своих грядущих поколений, только вот без нефти им жить будет не на что. И может прерваться связь времен.

— Конечно, слухи разные циркулируют,— продолжил Утятев еле слышно.— Мол, самолеты бьются чуть не каждую неделю. Но это брехня, это безответственные экстремисты болтают, вот кто. И уж, конечно, не каждую неделю, каждую неделю — эт, брат, чепуха... Верить?

— Верю,— кивнул я.

— Зато экономия, брат, большая получается. Такая экономия на керосине, прям дух захватывает. Кирпичов, эт секретарь наш, он все сам придумал и еще при Брежневке орден за это дело получил, понял-нет? Правда, сам-то он, секретарь, эт по-кривичски, секретарь, с другого аэродрома летает, с военного, просто ему дотуда с дачи ближе, вот и все, а то летал бы с этого. Понял-нет?

— Более-менее,— ответил я, чтобы не огорчать Утятева.

Тут подали трап, и мы вышли из самолета вместе с беспокойной, прущей напролом оравой пассажиров.

Я увидел, так сказать, новое небо и новую землю. Небо застилали черные тучи, землю покрывал смешанный с копотью снег. Промышленность старалась вовсю.

Аэрофлотская пастушка собрала пассажиров в гурт и повела к зданию аэропорта.

— На таможне, брат, не волнуйся,— заговорил Утятев, шагая рядом со мной по зальделому бетону.— Ежли будут чего отбирать, отдай добром, не связываясь, нехай подавятся. А я тебя потом, возле справочной встречу.

— Вы сказали, на таможне? — мне показалось, что я услышался.— На какой такой таможне?

— Известно, на какой. На нашей, кривоградской. Я-то отдельно пройду, потому как я командированный. А ты не волнуйся. Если чего найдут, просто отберут, ничего тебе не сделают.

— У меня и находить-то нечего,— ошарашенно промолвил я.

Действительно, я не вез ни наркотиков, ни оружия. Не имею никаких привычки.

— Ну вот и славненько,— обрадовался Утятьев.

Мы вошли в здание аэропорта через широкие стеклянные двери. В багажное отделение мы с Утятьевым не пошли, поскольку вся наша ручная кладь, портфель и чемоданчик, находилась при нас. К барьеру с вывеской «Таможенный контроль» выстроилась мощная, навьюченная, на версту пахнущая колбасой очередь. Я пристроился в хвост. Утятьев ободряюще похлопал меня по плечу и свернул куда-то налево. Там, где барьер заканчивался турникетом, он предъявил таможеннику паспорт и командировочный бланк; тот прочитал, сличил фотографию и кивнул, пропуская Утятьева на его малую родину.

Между тем возле столов, где шел досмотр, произошла заминка и разгорелась свара.

— Как это нельзя?! Почему это нельзя?! — надсаживалась до-родная женщина в нейлоновой шубе и люрексном платке.

— Сказано вам, полукопченую нельзя,— меланхолично парировал молодцеватый таможенник, роясь в ее чемодане.

— С каких это пор?!

— А вы не кричите, не кричите, я при исполнении.

— А я не кричу, я спрашиваю, почему нельзя полукопченую?!

— Согласно постановлению,— заученно отвечал таможенник.

— Какому такому постановлению?

— Постановлению горсовета. Нельзя полукопченую колбасу ввозить, русским языком вам говорят, запрещено.

— Люди!! — патетически воскликнула женщина, воздев руки и обращаясь к очереди.— Что ж это такое делается?!

Но люди в ответ загомонили, требуя не задерживать очередь и кончать базарить.

— А вы пройдите к нашему бригадиру,— предложил таможенник.— С ним и разбирайтесь. А мне что, я человек маленький... Не-ет, колбаску оставьте пока. Оставьте-оставьте, никто ее здесь не съест.

Мало-помалу очередь продвигалась вперед, и я вместе с ней. Терпеть не могу очередей, когда кто-нибудь сопит за спиной и неизвестно, чего от него можно ожидать. Препротивнейшее ощущение. Если вам когда-нибудь проламывали череп, вы меня без труда поймете.

Когда попытка очередью кончилась, я предстал перед одним из таможенников и бестрепетно раскрыл свой чемоданчик. Там не было ни наркотиков, ни оружия, ни полукопченной колбасы. Бегло окинув наметанным глазом мои пожитки, поворотив смену белья и заглянув в футляр, где хранилась электробритва, таможенник указал на газетный сверток в углу чемоданчика.

— Это что? Разверните.

— Это мои носки,— застенчиво пробормотал я.— Пожалуйста, мою развернуть.

Мысленно я ему посочувствовал. Каждого подозревать, потрошить чужое барахло, копаться в нестиранных носках, пусть даже по долгу службы,— не слишком почтенное занятие. Однако выяснилось, что его заинтересовали вовсе не мои носки. Таможенник расправил смятую газету, это были позавчерашние «Известия», акkuratно сложил ее и сунул под стол.

— Газету изымаем,— сообщил он.— Не положено.

— Да что в ней такого? — изумился я.— Почему не положено?

— Сказано вам, не положено. Согласно постановлению областного исполкома. Проходите, гражданин, не задерживайте.

— А у вас не найдется бумажки? Носки завернуть . . .

— Пройдите прямо, потом направо,— ответил таможенник. — Там будет газетный киоск. Куда вы? Паспорт давайте.

Признаться, я не уловил в случившемся никакой логики. На таможеннике отбирают всесоюзную газету, а дальше, в двух шагах,— киоск «Союзпечати» . . . Однако, вспомнив наказ Утятеева, я не стал спорить.

Между тем таможенник листал мой паспорт.

— А почему без прописки? — нахмурился он.

— Потому что я выписался.

— Это понятно. Гм, ладно, пройдите вон к тому столику, там прибывающих оформляют. Паспорт оставьте пока.

Опять я ничего не понял, но послушно пошел к указанному столику, а мой паспорт двинулся туда же, по ленте специального конвейера. Пришлось выстоять вторую очередь, поменьше.

Чиновник в штатском выдал мне бланк.

— Заполните разборчиво и подпишитесь,— велел он.

— А что это?

— Там все написано.

На бланке была отпечатана какая-то типографская ахинея. Дескать, я, Ф. И. О. и прочие данные, цель прибытия такая-то, обязуюсь не разглашать сведений . . . всякого там характера . . . могущих нанести ущерб общественному порядку и государственному строю . . . об ответственности за разглашение . . . согласно статье УК . . . предупрежден . . . (подпись, дата). В таком вот духе.

— Извините, я не совсем понял.

— Слушаю вас,— поднял глаза чиновник.

— Тут написано, я обязуюсь не разглашать. Но мне разглашать нечего, я ничего такого не знаю.

— Тем лучше,— без тени юмора ответил тот.— Значит, подписывайте смело.

— А что это за статья Уголовного кодекса, нельзя ли ее прочесть?

— Разумеется. Пойдите в библиотеку, возьмите и прочтите.

— А у вас нету?

— Нету. Не мешайте работать, гражданин.

— А тут написано же. Что я предупрежден.

— От двух до десяти,— сказал чиновник.

— Извините, не понял.

— За разглашение дают от двух до десяти лет,— пояснил он.

— Большое спасибо,— поблагодарил я и, примостившись с краю стойки, заполнил бланк, подписался, проставил число.

— Неужто бывает, что разглашают? — озабоченно поинтересовался я, отдав бланк и получив свой паспорт.

Честное слово, я не хотел его обидеть. Но похоже, он превратно меня понял и уставился в упор, свинцовым служебным взглядом.

— Вы свободны,— процедил он сквозь зубы.— Ясно? И не советую хулиганить.

Чутье подсказало мне, что лучше не оправдываться и не извиняться, а удалиться подобру-поздорову. Так я и сделал.

Первым делом я отправился покупать газету взамен конфискованной. Киоск оказался завален прессой — «Трибуна люду», «Нойес дойчланд», «Морнинг стар» и «Юманите».

— На русском газеты есть? — спросил я.

— «Кривоградская правда» кончилась,— ответил седенький щуплый киоскер.

— А из центральных что-нибудь?

— Не бывает.

— Как так не бывает?

— А так. Не завозят.

Тогда я с запозданием сообразил: не все ли равно, в какую газету завернуть носки. Купил «Морнинг стар» и пошел искать Утятьева.

Тот ждал меня, как договорились, возле справочной.

— Ну что, порядок? — спросил он.

— Более-менее. Только вот газету почему-то отобрали,— пожаловался я.— Обыкновенную советскую газету «Известия». Не знаю, что и подумать.

— Ты поменьше думай,— посоветовал Утятьев.— Чем меньше думаешь, тем веселее живется.

Этим он снова напомнил мне чудака Альфегу. Тот любил повторять, что во mnogой мудрости многая печаль. Странно. Я ведь не чувствую себя особенно печальным.

— Ну, пошли,— скомандовал Утятьев, подхватывая стоявший на полу портфель.— Надо еще на службу успеть.

Мы вышли из аэровокзала и пристроились к очереди на стоянке маршрутных такси.

— Вообще-то странные у вас, в Кривограде, порядки,— проворчал я.— Таможня какая-то, словно мы из-за границы приехали. Да еще подписку о неразглашении берут. Что тут разглашать, кому разглашать, ничего не понимаю.

Утятьев вздрогнул, оглянулся по сторонам.

— Хороший ты парень, Лева,— тихо сказал он.— Только вот болтаешь много и не по делу. Видно, мало тебя жизнь учила.

С тех пор как мы сошли по трапу на кривоградскую землю, Утятьев прямо на глазах менялся — говорил все тише, постоянно озирался и даже как будто стал поуже в плечах и пониже ростом.

— Интересно вы рассуждаете,— возразил я.— Такое впечатление, что вас ни гласность, ни перестройка не коснулись. Я понимаю, вы формировались как личность в другой исторический период. Но ведь сейчас вокруг такие перемены, разве вы не видите?

Побледневший Утятьев взял меня за рукав и отвел в сторонку, за будку диспетчера по такси.

— Не вижу, Лева,— выдохнул он мне прямо в ухо.— Не вижу я вокруг никаких перемен. И тебе не советую. Понял?

Некоторое время я добросовестно переваривал услышанное. Оно с трудом укладывалось у меня в голове. Правда, теперь у меня все в голове укладывается с трудом, иной раз наперекосяк, но так всегда бывает, когда от старого мышления переходишь к новому. А Утятьев своим типично застойным мировоззрением совсем сбил меня с панталыку.

— Послушайте, Утятьев,— вдруг спохватился я.— Мы же с вами не обсудили один очень важный вопрос. Где я жить-то буду?

— Эт не вопрос,— махнул рукой он.— Покудова поживешь у меня. От меня на прошлой неделе жена сбежала. Так что все в ажуре. Одному, брат, паршиво приходится, иной раз еще хуже, чем с женой. А пропишешься где-нибудь в общежитии, я лично тебя устрою через исполком. Не бойсь, Лева, не в Америке живем, без прописки не останешься. Нет у нас такого закону, чтобы физики на улице валялись, понял-нет?

— Спасибо,— сказал я.— Большое вам человеческое спасибо.

— Да не за что. Ты, Лева, мне сразу понравился. Вижу — человек хороший, а пропадает ни за хрен собачий. Ну почему ж не по-мочь?

— Спасибо,— повторил я.

— Я думаю, ты у нас быстро освоишься,— продолжал Утятьев.— Надо бы мне сразу все объяснить, да как-то недосуг было. Понимаешь, Лева, местность у нас такая, особая, стратегическая, можно сказать. Потому и таможня и все такое прочее. Только ты не волнуйся, тут жить можно. А раз ты подписку дал, значит, уже свой, значит, можно тебя посвятить, так сказать, в местную специфику...

— Может, лучше не надо? — растерянно заикнулся я.

— Да нет, Лева, не дрейфь. Ты послушай. Просто-напросто у нас тут льнопок выращивают, такое вот стратегическое растение. Всего-то делов.

— Как вы сказали, льнопок? Первый раз слышу.

— То-то и оно. Эт штука секретная, не для чужих ушей. Так сказать, достижение передовой мичуринской биологии. А растет он, зараза, только на наших болотах и больше нигде в мире.

— Насколько я понимаю, это нечто среднее между льном и хлопком,— вставил я.

— Соображаешь,— одобрительно отметил Утятьев.— Правда, никто толком не знает, чего и как там скрещивали, но волокно у него тонкое, прямо-таки шелк, и зеленое, никаких красителей не надо. Чуешь? То-то. Весь высший комсостав гимнастерки из нашего льнопка носит. Эт понимать надо. Конечно, секретности невпроворот, даже в атласе нас не сразу найдешь, а если найдешь, один черт — не разберешься. Очень этот льнопок нас выручает. Раньше, брат, в округе одни непролазные болота были. А теперь они льнопком засеяны. Даже там, где не было болот, искусственные соорудили. Так что мы на оборону трудимся вовсю. Кирпичов, эт склетарь наш, пообещал к концу пятилетки миллион тонн сдать государству. А раз обещал, значит, сдаст, он человек сурьезный. Обидно, конечно, что про нас в стране ничего не знают. Вон про Узбекистан, почитай, каждый день в газетах пишут, ордена дают, а нам — шиш. Но мы понимаем, еще время не пришло. История, брат, потом разберется, кто что сделал для страны.

Про нас еще и книги напишут, и песни сложат. Сам Кирпичов обещал.

— Очень интересно,— сказал я.— А когда этот самый льнопок селекционеры вывели, давно?

— Да как сказать. Вроде бы при Хрущеве, годков тридцать тому назад. Тогда еще сплетни разные ходили. Будто бы когда в какой-то чучмекии атомные бомбы испытывали, этот льнопок сам собой родился, от радиации.

— То есть, произошла мутация? — вставил я.

— Во-во, мудация. Но я так думаю, эт все брехня. Вон, когда в Чернобыле рвануло, разве ж там вывелось чего-нибудь? Ничего хорошего не вывелось, факт, никаких тебе мудаций-шмудаций. Так что эт наверняка мичуринская биология постаралась.

За разговором я и не заметил, как двигалась наша очередь. Подошла маршрутка, и мы уселись в нее. Утятьев заплатил за двоих и категорически отказался от моей мелочи.

— Брось, Лева. У тебя сейчас с деньгами негусто, я же понимаю.

Маршрутка развернулась и лихо понеслась вниз по склону холма. На горизонте, в серой дымке, виднелись заводские трубы, извергавшие густой черный дым.

Маршрутка спустилась в лощину, по дну которой тянулось шоссе — узенькое, сплошь в трещинах и ухабах, проступавших даже сквозь слой утрамбованного снега. Мало-помалу склоны становились все более пологими, и наконец мы выехали на равнину, отороченную по краям сизыми полосками леса.

Справа от шоссе я увидел грандиозный котлован и мощную бетонную плотину. Несмотря на мороз, река и не думала покрыться льдом — лишь кое-где у берегов виднелись ледяные закраины, желтоватые, словно пропитанные никотином. Достигнув плотины, воды реки сворачивали под прямым углом и текли по искусственному каналу куда-то к горизонту, а на пересохшем русле копошились бульдозеры, краны и грузовики. Там и сям громоздились припорошенные снежком груды бетонных кубов, среди арматурной щетины полыхали голубые звезды электросварки.

— Эт наша речка Кривуля,— объяснил Утятьев.— Круглый год не замерзает, видал? Воду с нее шофера заместо антифриза заливают.

— Отчего такие свойства? — подивился я.

Утятьев пожал плечами.

— Наука еще не докопалась. Одни говорят, от химкомбината. Другие, что от фармацевтического. Шут его разберет.

— А плотина зачем?

— Эт мы ее в запрошлом годе повернули на юг,— не без гордости сообщил Утятьев.

— Вот как . . . Я-то думал, теперь поворачивать реки запрещено.

— Оно вроде так, — согласился Утятьев. — Только, вишь ты, на плотину эту уже средствá выделили. Ба-альшущие мильены, брат. Вот ее и воздвигли, так сказать, не пропадать же народным денежкам. И потом, на юге у нас воды не хватало для искусственных болот. Так что мы под руководством товарища Кирпичова взяли нашу Кривулю да и повернули. Всякие там брехуны-писатели нам не указ. Стране льнопок нужен.

— Ясно,— сказал я.— Только вот не пойму, вроде там еще одну плотину строят, или что?

— Точно,— подтвердил Утятьев.— Теперь вторую плотину за-

ложили, ударная комсомольская стройка республиканского значения. Понимаешь, неувязочка приключилась. Когда Кривулю повернули, то стали северные болота пересыхать. И порешили сделать аж целый насосный каскад. Одну неделю Кривуля будет течь на юг, другую неделю — на север, потом опять на юг. Тогда, вроде, хватит воды на все болота.

— Потрясающе,— воскликнул я.

— А ты как думал. Покорение природы — эт, брат, не жук начал. Эт дело сурьезное. Не успеешь ее покорить как следует, она начинает всякие подлянки вытворять. Значит, надо ее обратно покорять, а потом еще и еще, покудова она в норму не придет. Главное тут — передышки не давать. От нее, брат, милостей не дождешься, а от нас — тем более.

Я задумался. Судя по всему, удивительные вещи творятся в Кривограде, а население еще слабо борется за гласность и перестройку. Раз так, я очутился здесь очень кстати. Чтобы бороться за революционные преобразования, тут явно не хватает таких людей, как я. Вот я и буду бороться. В конце концов, не всем же бычков растить.

Между тем вдали показалась городская окраина, а на обочине замелькали квадратные щиты в два человеческих роста высотой. С неослабевающим интересом читал я написанные на них, белым по красному, лозунги:

**ДЕМОКРАТИИ НАДО ЕЩЕ НАУЧИТЬСЯ
НАМ НУЖНА ТОЛЬКО ПОЛЕЗНАЯ ДЕМОКРАТИЯ
НАМ НЕ НУЖНА ВРЕДНАЯ ДЕМОКРАТИЯ**

Не успел я толком обдумать прочитанное, как началась новая серия:

**СВОБОДА — ЭТО НЕОБХОДИМОСТЬ
СВОБОДА ДОПУСТИМА ТОЛЬКО В ИНТЕРЕСАХ ТРУДЯЩИХСЯ
НЕ ВСЯКУЮ СВОБОДУ МОЖНО ДОПУСТИТЬ**

Меня стало мутить. Не от прочитанного, правда, а от тряски и запаха бензина. Потом, ни с того ни с сего, промелькнул еще один щит:

КРИВИЧИ! ГЛАСНОСТЬ — В КАЖДУЮ КВАРТИРУ!

После чего я увидел стандартный белый щит с черными буквами:

КРИВОГРАД

И мы въехали в город. Меня мутило все сильнее.

Окраина как окраина, домики с палисадниками, легкий налет неприкаянности и неприбранности повсюду, словно тут не живут, а проживают временно, в ожидании переезда на новое местожительство, где не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ворота не будут запираются днем, а ночи там не будет. Отчасти это напомнило мне Шарыгино, мою малую родину. Только вот окна домиков сплошь были забраны решетками — но не вальгарными, в клетку, а косыми, в виде ромбов или, изредка, солнышка с прочными, в мизинец толщиной, лучами. Сколько я ни смотрел, нигде не увидел хотя бы одного незарешеченного окна. Робко спросил я Утятьева, отчего это — от зажиточности, от обилия воров или просто так повелось. Тот ответил, что не берется судить о причинах (правда, выразился короче и крепче), но ворья нынче развелось — не продохнуть.

— Больно сильно с ними нянькаются, вот они и борзеют,— добавил он.— Не сажать их надо, а стрелять, тогда, может, честности прибавится. И еще, была б моя воля, издал бы закон: ко-

торые в торговле или общепите работают — тех через пять лет сажать без суда и следствия, зато с конфискацией. А что? Сам пожил — дай и другим. Ведь ежли накопятся у них угрожающие капиталы, простому человеку вообще житья не станет.

Превозмогая дурноту, я поинтересовался, что Утятьев понимает под угрожающим капиталом.

— Очень просто — эт ежли у кого и машина, и мебель, и дача, — объяснил он. — Конешно, не казенные ежли, а свои. Честным трудом такое не наживешь нипочем — я вот не пойму, куда органы смотрят. Наверно, тоже с них кормятся. Сажать надо, всех подряд сажать. Чтоб не портили настроение простому человеку. Эй, друг, останови на углу!

С последней фразой Утятьев обратился уже к водителю маршрутки. Когда тот затормозил, мы выбрались на тротуар. Почуввав под своими нетвердыми ногами твердую почву, я воспрянул и жадно стал вдыхать кривоградский воздух — пусть он с дымком и кислинкой, но от него не тошнило по крайней мере.

— Айда прямо в контору, — сказал Утятьев. — Тут недалече, две остановки на троллейбусе.

Мы прошли до угла, свернули направо, и я увидел, что навстречу нам идут трое людей с винтовками через плечо.

— Смотрите, тут, кажется, кино снимают, — заметил я.

— Какое к хренам кино. Обыкновенный рабочий патруль, — проворчал мой Вергилий.

В самом деле, вооруженные люди были одеты вполне современно — двое в пальто и кроличьих ушанках, а третий в куртке на синтетическом меху и лыжной шапочке. У каждого на левом рукаве красовалась багровая повязка. На ходу они дружно грызли подсолнухи и сплевывали шелуху наземь. Мы с Утятьевым посторонились, почти прижавшись к стене дома, чтобы пропустить патрульных, однако те остановились, и человек в лыжной шапочке небрежно приказал:

— Пойдите-ка...

Еще несколько мгновений назад они шли совершенно штатской, развинченной походкой, они глазели по сторонам с бесцельным равнодушием, словно их предупредили, что вот-вот в поле зрения должно показаться нечто интересное, а они не то чтобы поверили, просто на всякий случай озираются. Но вот их глаза сверкнули, уперлись в нас, и сразу стало ясно, что это не гуляки праздные, а серьезные государственные люди, облеченные нешуточной властью.

— Кто такие, почему не на работе? — выдержав паузу, сурово спросил человек в шапочке, как видно, старший патрульный.

— А мы, между прочим, как раз на работу идем, — с достоинством ответил Утятьев.

— В такое время?

— Да, в такое время. Мы, между прочим, только что из аэропорта. Были в Москве, в командировке.

— Та-ак, — в нерешительности протянул старший.

Утятьев явно сбил его с толку, да и с начальственного тона тоже.

— А доку́менты имеются? — въедливо спросил другой патрульный, у которого воротник пальто был изнутри, неопрятно топорщась и похожей на полусгнившую соломенную кровлю.

— Пожалуйста.

Ознакомившись с командировочным удостоверением по очереди, они не спешили его возвращать.

— Удостоверение на одного,— обратился человек в шапочке к Утятьеву. — А как же этот? — И он небрежно кивнул в мою сторону.

— Позвольте,— не выдержал я,— что это такое происходит? У вас что, комендантский час? Посреди бела дня?

Я понимал, конечно, что эти люди тоже борются за перестройку. По-своему, но борются. Только зачем же бороться со мной, который в своем роде прораб перестройки? Шли бы и боролись на здоровье с кем-нибудь другим.

Не успели они ответить, как вмешался Утятьев.

— Товарищи, он не местный,— торопливо заговорил он.— Это физик из Москвы, он к нам приехал, работать... А ты, Лева, тоже понимать должен... Раз останавливают, значит, имеют право...

— Та-ак,— кивнул старший патрульный.— Из Москвы, значит. Очень хорошо. А что это вы, гражданин, голос повышаете? А? Мы тут за трудовую дисциплину боремся, а вы тут приехали и на рабочего человека голос повышаете? Да? Документы попрошу предъявить...

— Сначала предъявите ваши,— возразил я.

Человек в шапочке извлек из кармана малиновое удостоверение с золотым гербом и надписью: «Кривоградская рабочая гвардия».

— Убедились? — снисходительно произнес он, помахав книжечкой у меня под носом и засовывая ее обратно в карман.

— Пожалуйста, предъявите в раскрытом виде.

Утятьев заволновался.

— Лева, ты лучше не залупайся... Товарищи, я ж вам говорю, он не местный... А ты спокойнее, Лева, не маленький, понимать должен...

Усмехнувшись, рабочегвардеец поднес раскрытую книжечку к моим глазам. Фамилия-имя-отчество, каллиграфической тушью, фотография и круглая печать. А на правой стороне, жирным цитеро, была напечатана цитата: «Вооруженные рабочие — это сила, которая шутить с собой никому не позволит. В. И. Ленин».

— Давай документы,— повторил он.

— Попрошу не тыкать,— огрызнулся я и достал паспорт.

Гвардеец сличил фотографию, потом пролистал все двадцать восемь страниц и даже заглянул на последнюю — ту, где содержится «Извлечение из Положения о паспортной системе в СССР, утвержденного постановлением Совета Министров СССР от 28 августа 1974 г.» Как известно, ни один нормальный человек на эту страницу никогда не обращает внимания и «Извлечение» не читает, а если кто случайно прочтет, тот бывает нешуточно удивлен.

— А прописки-то у вас нету,— наконец заявил он.— Что делать будем, гражданин?

— Известно что, сдавать паспорт на прописку,— парировал я.— Обратите внимание, он выдан позавчера. А прописаться надо

в трехдневный срок, с вашего позволения.

— И где же вы пропишетесь?

— А это, извините, моя забота.

Я протянул руку, но борец за трудовую дисциплину не спешил возвращать мне паспорт, задумчиво похлопывая им по ремню винтовки.

— А покажите-ка, что у вас там в чемоданчике,— вне всякой логики вдруг предложил он.

— Это с какой же стати?

— А с такой. Мало ли откуда вы идете с чемоданчиком. Если вы честный человек, то чего вам бояться?

Я настолько опешил, даже не сразу нашелся, что ответить, и замер с протянутой рукой, словно на паперти. Зато Утятьев, переминавшийся с ноги на ногу, взмолился:

— Ну товарищи, ну что вы в самом деле... Мы ж на работу спешим... А вы нас задерживаете...

Раскрывать чемоданчик я категорически не желал. Мы никогда не построим правовое государство, если каждый встречный будет копаться в чужих вещах, отбирать газету британских коммунистов «Морнинг стар», в которую завернуты нестиранные носки, спрашивать, читаю ли я по-английски, а если нет, почему таскаю с собой иностранную газету, а если да, прочтите вслух вот отсюда досюда и переведите, плиз, битте, проше пана, же ву зем... А в том, что именно так все и произойдет, я ни капельки не сомневался. Так что мне предстояло не открывать чемоданчика и тем самым бороться за правовое государство, в котором будут жить мои дети, если они будут вообще.

Пока я обдумывал вышеизложенное и собирался популярно пересказать его вслух, третий рабочегвардеец, не проронивший до сих пор ни слова, сплюнул подсолнечную лузгу и подергал старшего за рукав.

— Да пойдём, Ляксаныч... Чего ты связываешься со всяким говном...

После непродолжительного колебания Ляксаныч сунул командировочное удостоверение и мой паспорт Утятьеву.

— Ну ладно,— произнес он так, словно прерывал долгие униженные извинения.— На первый раз так и быть. Топайте...

И троица удалилась. Поглядев им вслед, я выяснил, что на плече у каждого болтается легендарная трехлинейка Мосина, образца 1891/1930 года.

— Утятьев, что за бред? — вымолвил я.

— Пошли, Лева,— сказал тот и уже на ходу разъяснил.— Держи свой документ. Эт все наш секлетарь Кирпичов, еще при Андропове, затеял и до сих пор остановиться не может. Патрули, винтовки, красные книжечки... Кирпичов, вишь ты, где-то вычитал, что советская власть — эт власть вооруженных рабочих. Ну и поехало...

— Как это, что хочешь... К стенке поставить, что ли?

— Да не. У них же патронов нет, бойки спилены, казенник просверлен. Но могли запросто в милицию отволочь, протокол составить. Доказывай потом, что ты не верблюд.

— Ну а прокуратура на что? — не сдавался я.

— Ой, Лева, не смейся, — махнул рукой Утятьев. — Ты где-нибудь беспартийного прокурора видел? То-то. Лучше смотри вот, запоминай дорогу. Эт у нас улица Ленина, центральная, значит. Вон там Совмин, а дальше горком, справа драмтеатр, его отсюда не видать...

— Утятьев,— хриплым от изумления голосом перебил я.— А это... Это — что?...

— Неужель сам не видишь,— проворчал тот.— Ну, Мавзолей, ну и что такого...

Надо сказать, что мы как раз вышли к просторной площади, которую обрамляли отделанные мрамором, осененные государственным флагом на шпиле тяжеловесные правительственные громады. Здесь покоилось государственное сердце Кривограда, здесь было торжественно и безлюдно, лишь кое-где вразвалочку брели вооруженные трехлинейками рабочегвардейцы.

А с краю этого официального великолепия, в устье пустынного шестирядного проспекта, окруженный серебристыми елочками стоял Мавзолей. Впрочем, охрану у входа несли два милиционера в тулупах, да и величиной он уступал своему священному прообразу примерно вдвое.

— Но . . . почему? — пролепетал я.

— Почему-почему, — ворчливо передразнил Утятев. — Потому. К столетию воздвигли. Кирпичов с него демонстрации трудящихся приватствует. Чем мы, спрашивается, хуже прочих?

— Теперь понятно. А внутри?

— Чего внутри?

— А внутри . . . кто у вас там лежит?

Утятев нахмурился и даже остановился.

— Слушай, Лева, ты это брось, — заявил он. — Иди ты, знаешь, с такими вопросами . . . Чего надо, того и положили. И звездеч. И амба. Не прикидывайся дурнее, чем ты есть.

— Извините, — растерялся я. — Честное слово, я не хотел задеть ваши чувства.

Вместо ответа Утятев вздохнул как-то неопределенно, и мы двинулись дальше.

Он то и дело напоминал мне Альфегу, причем не только внешне. Во-первых, Утятев явно страдал легкой формой мании преследования, и не хотелось бы думать, что все кривоградцы больны тем же. Во-вторых, временами он заговаривался и изрекал совершенно несусветные вещи. Взять хотя бы туманную фразу о беспартийном прокуроре. Ведь каждому здравомыслящему человеку понятно, что законность — это одно, а партийность — это нечто совсем другое.

— Погоди, — вдруг спохватился Утятев. — Позвонить же надо.

Он влез в телефонную будку, набрал номер и заговорил настолько громко, что я волей-неволей расслышал все до последнего слова: «Хаим Залманыч?.. Мне Хаима Залманыча. . . Здорово, Залманыч. Утятев на проводе. Ты чем занят? А, пакуешься, понятно. . . Слушай, ты не мог бы подъехать в контору? . . . Ну, через полчаса. . . Я специалиста привез с Москвы, так чтоб ты ему помог с часами разобраться. . . Да? . . . Ну, спасибо, дорогой. Пока».

— Полный ажур, — сказал он, выйдя из будки. — Погнали в контору. Залманыч сейчас тоже туда подъедет.

Стоя с Утятевым на троллейбусной остановке, я задумался. Вокруг нас топталось несколько кривоградцев и кривоградок, все они сосредоточенно лугали подсолнухи и сплевывали шелуху. А я думал. Дело в том, что после больницы у меня из головы улетучилось все, связанное с работой в НИИ. Я позабыл даже, как выглядят водородные часы и как их надо заводить. Подолгу, ежедневно тренировал я свою злосчастную память, но она совсем не желала тренироваться. Впрочем, я довольно много выучил наизусть из книжечки, которую мне давал почитать Альфега. То была очень странная книжечка — самодельная, рукописная, затрепанная. Мне даже закралось в душу подозрение, что ее автором является Альфега, но тот утверждал, что всего лишь ее переписал от руки, из

одной хорошей книги, одолженной приятелем, и с тех пор всегда носит манускрипт при себе. И все-таки это была странная книжка, очень странная; отродясь я не читал ничего подобного, хотя очень люблю художественную литературу. Судя по сведениям, изложенным в первой главе, сочинил ее действительно не Альфегга, а какой-то человек, забыл его имя, которого сослали на какой-то остров, название не помню. Очевидно, диссидент. Кстати, Альфеггу прозвали Альфеггой оттого, что он постоянно бормотал себе под нос, быстро и неразборчиво, такие слова из своей книжечки: «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец . . . Я есмь Альфа и Омега, первый и последний . . .» Получалось «Альфегга». Еще он очень любил рассуждать, длинно и путанно, о семи царях и багрянном звере, а также уверял, что в его книжечке содержится долгосрочный прогноз о путях перестройки. Хотя лично я в этом сомневался, тут попахивало элементами мистики, а я в свое время сдал диамат, истмат и атеизм на пятерки. С другой же стороны, книжечка мне казалась занятой, читать и заучивать ее наизусть было интересно.

Напротив троллейбусной остановки, на крыше какого-то солидного казенного здания, я увидел щит с цитатой:

«ВЕЛИЧАЙШАЯ ОШИБКА ДУМАТЬ, ЧТО НЭП ПОЛОЖИЛ КОНЕЦ ТЕРРОРУ. МЫ ЕЩЕ ВЕРНЕМСЯ К ТЕРРОРУ И ТЕРРОРУ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ». В. И. Ленин.

— Утятъев,— подивился я,— неужто Ленин вправду так написал?
— Конечно.

— Странно. Я что-то нигде не встречал такую цитату . . . А что это за учреждение?

— Для таких, как ты, трепачей,— прошипел мне на ухо Утятъев.— По-моему, там тебе уже койку забронировали.

— Гостиница, что ли.

Утятъев нервно хихикнул.

— Это, Лева, кегебе. Ежли тебе туда не терпится, то давай, трепись дальше. Только меня за собой не тащи. Понял-нет?

Я хотел Утятъеву объяснить, что страх перед КГБ — постыдный доперестроечный предрассудок, что эпоха гласности требует от нас стойкости и гражданского мужества, но тут подошел троллейбус, и мы с трудом в него втиснулись.

Когда же, проехав две остановки, мы вывалились наружу, я снова, в который раз, оторопел. И было от чего.

На углу улицы, перед розово-белым ампириным четырехэтажным особняком, стояла толпа. Там шел митинг. Оратор что-то выкрикивал в простуженный мегафон. Над головами торчали самодельные транспаранты. Кто-то размахивал шестом со здоровенным, в человеческий рост чучелом в шляпе, очках и при галстукe, а на груди у чучела болтался плакатик: «Бюрократ — враг перестройки». Вокруг толпы стояло двойное милицeйское оцепление.

— Смотрите, Утятъев, митинг! — восхитился я.— А вы говорили, неформалов нету . . .

— А, эти . . . — поморщился Утятъев.— Ну, это так . . . Наркомпомпер . . .

— Простите, не понял.

— Я говорю, Народный Комитет в Помощь Перестройке имени товарища Кирпичова,— объяснил он.— Сокращенно — Наркомпомпер. Каждый божий день они тут митингуют.

— А что это за здание, вот это, розовое?

— Министерство макарон.

Я не стал переспрашивать — мы уже подошли совсем близко, и я смог прочесть лозунги. Например, такие: «Требуем реорганизовать Министерство макарон в Комитет по макаронным изделиям!». Или: «Передать Министерство макарон в ведение Госагропрома!». Или: «Даешь бесперебойное снабжение макаронами!».

— Очень занятно,— сказал я.

Люблю, когда борются за перестройку. Конечно, каждый борется как умеет и на вверенном ему участке, но это лучше, чем не бороться вообще.

— Да ну их,— отмахнулся Утятьев.— Толку от них как от козла молока. Остобрызгали уже, ей-Богу. Соберутся кучей и ходят с плакатами по улице, от Министерства макарон к Министерству вермишели, потом обратно... Фухня все это. Удивляюсь, как это Кирпичов ихнюю возню терпит. А вон, вишь, наша контора, вон подворотня возле бакалейного...

Дойдя до подворотни, я оглянулся. Демонстранты подожгли чучело бюрократа. Оно чадило и пылало. Черные клубы дыма вздымались почти до самой крыши Министерства макарон, где красовался щит с цитатой:

«МЫ ДОПУСКАЕМ КАПИТАЛИЗМ ТОЛЬКО ГОСУДАРСТВЕННЫЙ, А ГОСУДАРСТВО ЭТО — МЫ...» В. И. Ленин.

Однако я уже не удивился и ничего не спросил. Кажется, я начал привыкать.

4.

Просторный двор, образованный пятиэтажными домами доменной постройки, наискось пересекала траншея, отороченная горбами мерзлого, заснеженного грунта. Она вела к двухэтажному неказистому зданию, покрашенному некогда желтой краской. Из трубы на крыше курился дымок. Мы с Утятьевым перебрались через траншею по мосткам и подошли к двери, рядом с которой были прибиты металлические вывески с одинаковым зачином: «Всесоюзное объединение „Точвремнадзор“», «Кривоградский горкомбинат благоустройства». А дальше значилось, на каждой из вывесок в отдельности, — «Организационный отдел Службы точного времени», «Информационный отдел Службы точного времени», «Технико-эксплуатационный отдел Службы точного времени». Дверь распахнулась, и навстречу нам, пятясь задом и согнувшись в три погибели, двинулся человек в замызганных, перепачканных угольной крошкой штанах.

— Привет, Костя,— сказал ему Утятьев.

Человек разогнулся, повернулся к нам и всплеснул руками в грязных матерчатых рукавицах.

— Елпидифор Трофимыч! — радостно воскликнул он.— А мы вас заждались...

Так я сразу узнал две вещи: имя-отчество Утятьева и имя здешнего истопника.

— Познакомься, Костя, это наш новый смотритель часов, физик из Москвы,— отрекомендовал меня Елпидифор Трофимыч.

— Лева,— протянул руку я.

— Очень приятно, я Костя,— истопник стянул рукавицу и подал перепачканную руку по-рабочему, запястьем.— Ну как вы, получили заявку? — снова обратился он к начальнику.

— Получил, да толку-то... Ты ж ее оформил неправильно, не на том бланке...

— Что вы говорите?! — изумился Костя.— Как так...

— Ладно, ты тут ни при чем, это конторские мудаки понапутали,— успокоил его Утятьев.— Что у нас новенького?

— Ничего особенного,— Костя шмыгнул носом и почесал за ухом, сдвинув набок свою оранжевую строительную каску.— Дворничиха опять куздит, чтоб я шлак в мусорник не сыпал... Жалобу напишет, грит...

— Пушай пишет.

— Вот я ей так и сказал. Такая горластая стерва, аж до матки меня достала... Ах да, еще Бармалей вчера прибежал, матерился. Ему этот козел, новый снабженец, два мешка сульфата натрия выписал, вместо тиосульфата,— истопник прыснул в ладошку.

— А какая разница?

— От вы даете, гражданин начальник. Тиосульфат — это же фиксаж. А сульфат Бармалею в упор не нужен, а выкинуть нельзя, за него отчитываться надо... Комедия, в общем. И вот, чуть не забыл, в котле колосники окончательно прогорели, распроперетак едрит их в дизельматьвою,— выпалил Костя.— Развалились совсем на хрен.

— Разберемся,— туманно посулил Утятьев.— А дрова хоть привезли?

— Хренастые дрова, лучше б вообще не привозили,— помрачнел Костя.— Это ж двухметровые баланы, представляете, мокрые насквозь, эти суки на складе их под открытым небом держали, распроперекудрит их в Христа-веру-богородицу-приснодеву-печень-душу-мать и в трех святителей...

Сроду не слышал, чтобы ругались так заковыристо. Это была какая-то барочная, несусветно кудрявая брань.

— Ну-ну, Костенька,— Утятьев отечески похлопал истопника по плечу.— Как-нибудь справишься.

— Я ж их пилить не подряжался, мое дело топить,— изливал душу Костя.— И потом, пила есть только двуручная. Давайте мне ножовку или напарника пускай пришлют...

— А что у нас, на складе, неужель ножовок нету?

— Я звонил, они говорят, нету.

— Тогда купи в магазине по чеку, мы оплатим.

— Так ведь нету, нету нигде ножовок, я весь город обегал, так его, и не так, и поперек, и не в мать,— грустно пожаловался Костя.

— Ладно, не плачь,— Утятьев призадумался и повернулся ко мне.— Лева, поможешь человеку дров напилить?

— Конечно,— согласился я.— У нас любой труд почетен.

— Ну вот тебе и напарник.

— Спасибо! — Костя широко улыбнулся.— Тогда хрен с ней, с ножовкой...

— Больше ничего? — спросил Утятьев.

— Ах, да, позавчера с коксохимического звонили,— вспомнил истопник, почесывая грудь под фуфайкой.— Просили подбросить им к концу года хотя бы по часу на день. Аврал у них, зашиваются... Ну, я сказал, что без вас не могу решать...

— Правильно, молодец,— одобрил Утятьев.— Хренов им тачку, не дам ни минуты лишней сволочам. Помнишь, мы у них осенью автобус просили, за грибами съездить?

— Помню. Они тогда сказали, самим нужен.

— Во-во. Теперь пусть отсосут. В другой раз умнее будут . . .

— Угу,— ослабился Костя.

Он нагнулся, ухватил застрявшее на пороге жестяное корыто, наполненное шлаком, и поволок его, кряхтя, по двору. Судя по разговору, процесс демократизации в Службе точного времени зашел так далеко, что истопник Костя мог замещать своего начальника на время отсутствия одного. Лично мне это понравилось. В конце концов, если кухарка должна управлять государством, то почему бы простому рабочему не подменять заведомо . . .

— Вишь, Лева, вторая дверь, которая вовнутрь открывается,— объяснил мне Утятцев, задержавшись на входе.— Вот на нее-то я и утверждал пружину.

— Да-да, очень интересно,— пробормотал я и последовал за Утятцевым.

— А Костя у нас, между прочим, писатель,— добавил он ни с того ни с сего.

— Да ну? — усомнился я.

Это восклицание у меня совсем произвольно вырвалось. Я знал, что в эпоху застоя у нас действительно некоторые молодые работники искусства трудились кочегарами или сторожами. Но теперь, на волне перестройки и гласности, они, безусловно, процветают, а некоторые, подумать только, даже ездят за границу. И если кто-то остался в истопниках, значит, он просто недостаточно горячий сторонник перестройки. Именно такой смысл я вложил в свое скептическое «да ну?».

— Ага, писатель, самый настоящий,— заверил меня Утятцев, протирая очки рукавом.— У него даже книжка в издательстве лежит. Большущая такая папка, цельный роман. Уж сколько я его жучил, чтоб не смел в рабочее время писать, да все без толку. Видно, раз человеку дан талант, так ничего тут не поделаешь.

Этот разговор мы вели, уже оказавшись в помещении отдела. В небольшой комнатке, сплошь заставленной письменными столами, находились двое — юная блондинка в «варенке», что-то сосредоточенно вычислявшая на увесистом калькуляторе, и плешивый коренастый монголоид в распахнутом демисезонном пальто.

— Здравствуйте, Елпидифор Трофимович, — ангельским голоском сказала девушка и сделала пометку в большущей, размером с наволочку ведомости.

— Здорово, Гликерия, — отозвался Утятцев и направился в дальний угол, где плешивый человек сидел, развалившись на стуле, и поплеывал подсолнечную лузгу в кулак.

— Лукич!! — грозно взревел Утятцев, уперев руки в бока.— Опять надрался?! Я те сколько разов говорил, чтоб не смел сюда являться пьяным!

— Ну че разорался, — сиплым, прогорклым голосом отозвался Лукич. — Дома Надья орет, приду сюда, тут начальник орет . . . Пряма как сговорились, падла . . .

— Эх, Лукич,— убавил громкость начальник.— Шел бы ты отсюда . . . А? Иди домой, тебе ж восьмерки в табеле и так идут. Неровен час, Курагин с проверкой зайвится.

— Бодал я в масть твоего Курагина,— энергично отбрил Лукич.— Ну что придолбался? Я тут четырех начальников пережил, бля, и третьего директора тоже переживу. И вообще, отдолбись от рабочего человека, добром прошу. А то ведь могу и в репу замочить, бля, не погляжу, что начальник.

— Лукич, да ты ж меня без ножа режешь,— всплеснул руками Утятьев.— Счас же месячник трезвости... Да ежели тебя здесь Курагин ущучит, всему отделу звездеч... Не подводи товарищей...

— Которы тута товарищи? Эфти? Тилигенция вшивая? Бодал я таких товарищей, бля, и тебя первого... Товарищи... Тоже...

Я покраснел и невольно покосился на Гликерию. Та, как ни в чем не бывало, тыкала наманикюренным пальчиком в клавиши калькулятора.

— Нет, ты скажи,— разорялся Лукич,— ты мне, бля, наряд закрыл? Закрыл, бля, еще двадцатого. Чего те еще надо? Даром, бля, пахать? Я свои триста уже зашибил. А кто мне, бля, хоть рупь сверху тарифа кинет, Пушкин? Вот с первого числа ты мне опять, бля, будешь начальник. А счас ты мне никто и звать никем. И отлезь, падла, а то врежу!

И он, вытряхнув лузгу в корзину для бумаг, помахал перед носом начальника своим гегемонским кулаком.

— Да боже ж мой, Лукич, миленький,— засуетился Утятьев.— Да рази ж я против... Мы ж с тобой давно договорились... Выработал под потолок — и гуляй... Только не здесь же. А в табеле на тебя — полный ажур... Отдыхай до января, кто тебе хоть слово скажет, золотой ты мой. Только сюда не приходи выпимши, Курагин ежели накроет, оба погорим, оба...

— Нигде покою нет,— засопел Лукич.— Ни дома, ни на работе... Куды ни плюнь, везде, бля, одни начальники.

Он встал и, тяжело пошатываясь, вышел вон, на ходу нахлобучив засаленную кепку.

— Что это за монстр? — подивился я.

— Да слесарь наш, золотые руки у человека,— объяснил Утятьев.— Характерец, правда, тяжеловат. Приходится терпеть.

Он взглянул на часы.

— Пора бы Залманычу тут быть. Ну да ничего, подождем, топорить некуда. Да ты раздевайся, пальто вон в шкаф повесь.

Открылась дверь, и в комнату вошел истопник Костя, уже без каски и рукавиц. Он уселся за стол у окна, придвинул пишущую машинку, вынул из папки исписанный листочек и стал заправлять в машинку бумагу. Похоже, он чувствовал себя здесь по-хозяйски, а Утятьев никак тому не препятствовал.

— Еллидифор Трофимыч,— сказал он, лихо отбарабанив несколько слов на машинке.— Самое главное—то чуть не забыл. Опять в подвал дерьмо подтекает.

— Вот черт,— расстроился Утятьев.— Давно?

— Уже второй день. Думал, обойдется, ан нет. Утром спускаюсь в подвал, а там лужа, здоровущая, холера...— Костя сунул руку за ворот и энергично почесался.

— Экая незадача,— задумчиво молвил Утятьев.— Я так думаю, это бабы из орготдела. Накидали ваты в унитаз, паскуды, вот и забило...

Поежившись, я украдкой бросил взгляд на очаровательную Гликерию. Та сосредоточенно заполняла какие-то бланки, проложенные фиолетовой копиркой.

— А может, подмерзло,— предположил Костя.— Прошлой зимой тоже подтекало, правда, чуть-чуть. Еллидифор Трофимыч, так вы скажите Лукичу, пусть он там поковыряется?

— Пошлет он меня к хренам,— грустно ответил Утятьев.—

И будет кругом прав. Как я ему заплачу, из каких фондов?

— Ну, проведите, как за выполнение особо важного . . .

— Никак нельзя. И потом, все равно он меня пошлет, охота ему в говне ковыряться.

— Тогда надо сантехника вызвать.

— Давай вызывай,— рассудил Утятьев.— Кто ж тебе мешает?

Вместо ответа Костя хмыкнул и забарабанил по клавишам.

Гликерия вдруг повернулась на стуле, закинула локоть за его спинку и нежным голоском окликнула:

— Костя, извините, можно вас отвлечь на минуточку?

— Охотно.

— Нет ли у вас, случайно, знакомых на почте?

— Кажется, нет. А на что вам?

Гликерия встала и, держа за уголок пачку сколотых скрепкой бумажек, приблизилась к Косте.

— Вот, видите, у меня тут счета из района. Годовой план мы уже выполнили, так? Значит, надо их выставлять на январь. А на конверте декабрьский штампель, понимаете, а бухгалтерия проверяет по штампелю, когда присланы счет и вырезка . . .

— Короче,— бесцеремонно перебил ее истопник.— Вам нужен конверт январским штампелем?

— Да, — прелестная Гликерия потупилась.

— Ну и при чем тут блат на почте? Просто возьмите конверт, вложите что попало, напечатайте наш адрес. И бросьте в ящик после Нового года. Когда получите конверт, сдадите его в бухгалтерию вместе со счетами. И весь компот.

— Действительно . . . — задумчиво протянула девушка.— Так и сделаю. Спасибо, Костя, вы очень хорошо придумали.

— Погодите-ка,— вмешался Утятьев.— Может, нам придется тысяч десять сверх плана дать. Курагин говорил, во втором цехе опять лажа с полистиролом . . . Так что придержите счета, а вдруг придется их выставлять.

— Да что ж это творится, едрена-матрена,— вдруг взорвался Костя.— Мы каждый квартал кого-то вытягиваем, даем сверх плана. А нам потом опять прибавят план на следующий год? Так, что ли? Когда этот маразм кончится?

— Не кипятись, Костенька,— возразил Утятьев.— План есть план, надо вытягивать. Нельзя же оставить весь комбинат без премии.

— А вы гляньте, что получается! — Костя почти кричал.— Когда я пришел сюда работать, у нас план был сорок тысяч в месяц, так? А теперь? Теперь — восемьдесят, ровно вдвое больше. Вдвое!! И это при той же зарплате?! Нагрузка — вдвое, люди те же, деньги платят те же. Ни хрена себе, порядочки . . .

— Во-первых, мы за это время открыли ставку хударедктора,— парировал Утятьев.

— Мне-то что с того?

— Во-вторых, повысили премию . . .

— Ага, на пятнадцать процентов. Осчастливили, как же.

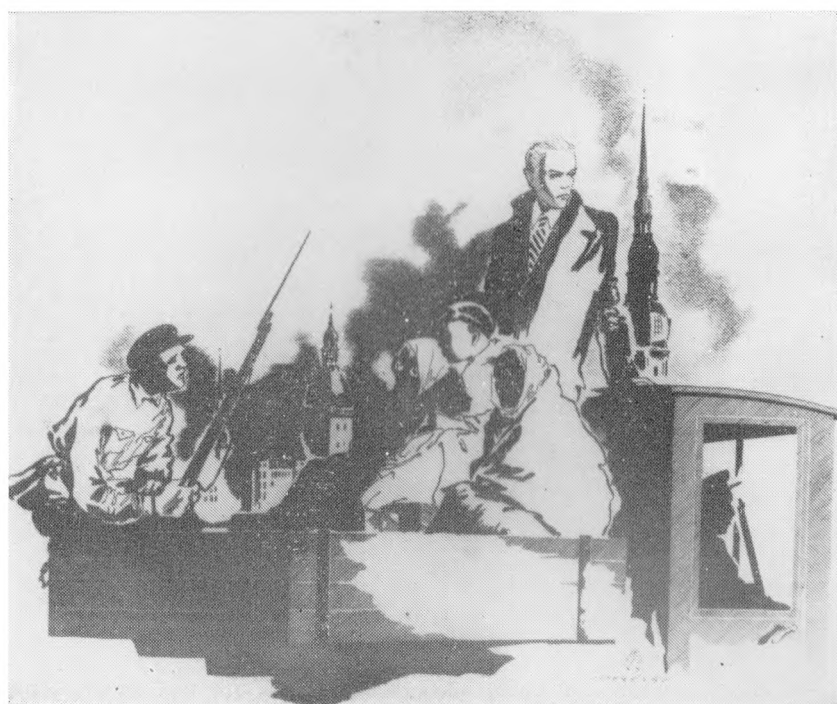
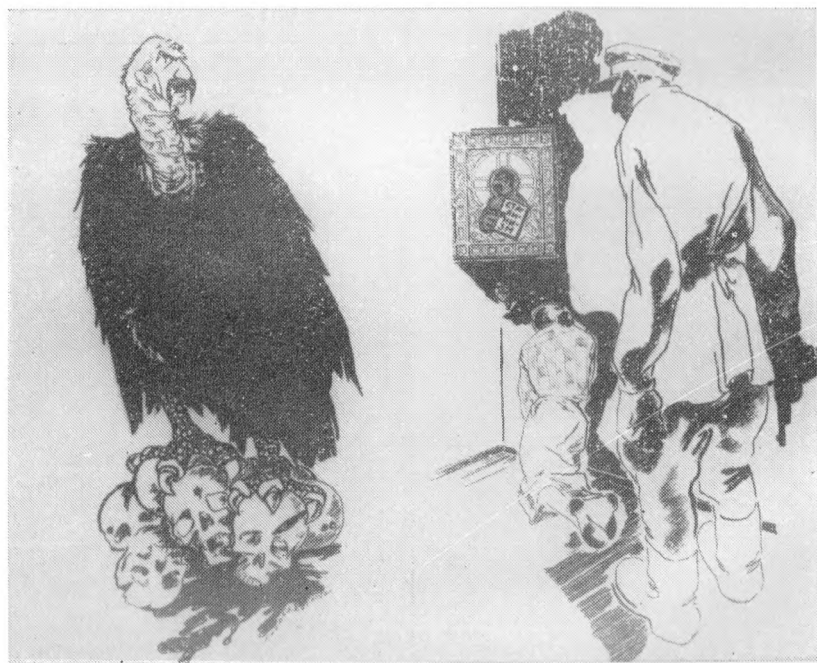
— И в-третьих, Костенька, не тебе жаловаться на большую нагрузку. Чья б корова мычала, а твоя бы помолчала, понял-нет? У тебя еще время остается, чтоб писать на работе свои романы.

— Гос-с-споди! — простонал Костя.— Опять! Опять вы меня попрекаете! Ну сколько можно . . . Ну не пишу я больше на работе, не пишу, заколебали вы меня своими попреками!

— Почему же, Костенька,— елейно проговорил Утятьев.— А ты



**Из цикла «Страшный год».
Тени в ночи. 1952**





Жагда. 1952

◀
Из цикла «Страшный год».
Мы наш, мы новый мир построим. 1952
Перед Богом. 1952
В путь. 1952



Из цикла «Страшный год».
Осенние сумерки. 1952

пиши, пиши на здоровье. Только не возникай, ежели не просят. И тогда никто тебя ни словечком не упрекнет. Договорились?

В ответ Костя скрипнул зубами и с надутым видом принялся стучать по клавишам машинки.

— Ну вот, из-за вас опечатку сделал,— вдруг процедил он, с пулеметным треском забывая целую строку.

Утятьев не снизошел до ответа.

Признаться, я ничегошеньки не понял из этого сюрреалистического диалога, хотя на всякий случай воспроизвел его дословно. Станный город Кривоград, странная контора, странный писатель-истопник... Хотя, может статься, после больницы я не воспринимаю каких-то элементарных, азбучных вещей. И спрашивать неловко, потому что меньше всего мне хотелось бы показаться недоумком и навлечь на себя подозрение в профнепригодности. Все что угодно, лишь бы не это.

Ничего, как-нибудь освоюсь, дойду своим умом, без лишних расспросов.

Костя выдернул отпечатанный листок из машинки и положил его на стол перед Утятьевым.

— Завизируйте, пожалуйста,— попросил он.

— Сначала согласуй, потом завизирую.

— А Лелька говорит, что теперь будет согласовывать с заказчиком только после вашей визы.

— Что за новости,— проворчал Утятьев.— Все с ног на голову.

Истопник застенчиво развел руками.

— Мудрят, Елпидифор Трофимыч...

— Гм...— Утятьев смерил Костю испытующим взглядом.— Ты что, опять с этими профурсетками поцапался?

Тот опустил глаза и шмыгнул носом.

— А чего они лезут не в свое дело. Сами корову через «ять» пишут, зато меня всю дорогу учат, как тексточки писать. Совсем задолбали.

— Ну что ты с ними собачишься? Раз умный, значит, должен уступить,— Утятьев хмыкнул и расписался в углу листа.— Ладно, иди, согласовывай.

— Покорнейше благодарим-с,— Костя шутовски раскланялся и вышел. Слышно было, как он затопал сапожищами вверх по лестнице.

А я подумал, что если писатель каждую страничку будет визировать и согласовывать, уж лучше ему всю жизнь работать истопником и не переводить зря бумагу, которой мы и так производим чуть больше, чем в Лесото, и чуть меньше, чем в Танзании.

Тут дверь отворилась, в комнату вошел долгожданный Хаим Залманыч. Был он толст и приземист, с горделивой осанкой, как и все низкорослые люди. Он держался весьма солидно, еще не промолвил ни слова, а от него уже повеяло таким чувством собственного достоинства, какого бы хватило, наверно, на целый автономный национальный округ. При этом его нос, глаза и брови были раза в полтора крупнее, чем полагалось бы по росту.

— Наконец-то... Мы уж тебя заждали,— упрекнул Утятьев, вставая из-за стола.

— Здравствуйте, товарищ Утятьев,— чинно ответил Залманыч.— А разве у вас пожар? Куда такая спешка? Знаете, я немножко

привык, что старый Хаим никому не нужен. И если вдруг стал нужен, разве нельзя на минуточку потерпеть?

Произнося эту отповедь, он обменялся с Утятевым рукопожатием, снял пальто и повесил в шкаф, затем достал расческу и пригладил перед зеркалом свои седые кудряшки.

— Вот, Залманыч, познакомься,— Утятев приобнял меня за плечо.— Этот парень — физик, зовут Левой, будет обслуживать твои часы. А это, Лева, наш Хаим Залманыч мастер по часам мирового класса.

— Очень приятно,— сказал мастер.— А скажите-ка, молодой человек, вы уже имели работать с часами, или как? Я не хочу ни на кого намекать, но физики тоже люди и они бывают немножко разные.

— Не волнуйся,— ответил за меня Утятев.— Он как раз с водородными часами работал.

— Да-да,— храбро подтвердил я.

Часовщик придирчиво оглядел меня, словно ему подсунули механизм неизвестного устройства и сомнительной марки

— Это хорошо, что у вас интеллигентное лицо,— наконец изрек он.— Такие часы нельзя доверить гопнику с Покровки, даже если у него два диплома и партбилет, вы понимаете? Потому что гопник так и останется гопником, будь у него хоть два партбилета. А интеллигентного человека сразу видно, разве ж нет?

— Да, конечно,— закивал я.

— Если часы один раз сломаются,— продолжал Хаим Залманыч,— вы можете им показывать какую угодно чистую анкету. Хоть сто анкет, все равно это будет пустой разговор. Потому что часы анкетой не чинят. Их чинят головой. Или я говорю вздор?

— Нет-нет, что вы,— заверил я.

— Тогда пойдете, молодой человек.

— Ключик возьмите,— сказал Утятев и достал из ящика стола дюралевый ключ на грязной бечевке.

Мы вышли из отдела. В тесном тамбуре у входа, рядом с лестницей, ведущей на второй этаж, находился длинный прямоугольный люк, ведущий в подвал. Его тяжелая, обитая жестью крышка была отвалена и прислонена к стене. Внизу горел свет.

Хаим Залманыч с неожиданным проворством спустился в подвал по наклонной деревянной лесенке.

— Осторожнее, тут лужа,— предостерег он меня через плечо.

Оказавшись внизу, я увидел, что напротив лестницы, в буристой, кое-как оштукатуренной стене шлямбуром вырублена корявая ниша, и в ее глубине виден стык толстого канализационного стояка. От этого углубления до бетонного пола тянулся темный потек. На полу растеклась внушительная лужа, которую пришлось обходить по краю, прижавшись к стенке. Пахло от нее, сами понимаете, отнюдь не розами.

Остановившись и взирая на лужу, Хаим Залманыч скорбно покачал головой.

— Все течет и течет,— сказал он, невольно цитируя Геродота, а может быть, Геракла.— В прошлом году чинили. В позапрошлом тоже чинили. Вы знаете, если бы я, старый беспартийный еврей, так чинил часы, я не имел бы, чего покушать. Да-да, я бы умер с голоду под забором, и это было бы справедливо. А вот те люди, которые чинили эту трубу, я не знаю, где они сейчас и что делают,

но вот покушать им обязательно дают. Лично я бы им запретил или работать, или пить водку, или то и другое вместе, потому что у них не бывает одного без другого. Но кто послушает старого Хаима Гершензона?

Полагая, что вопрос сугубо риторичен, я промолчал. Все так же качая головой и скорбно прицокивая, старый Хаим Гершензон вошел в узкий темный коридорчик, ведущий, очевидно, в котельную, и отпер щелястую, расхлябанную дверь в его торце. Другой конец коридорчика уходил во тьму, там гудело и потрескивало пламя отопительного котла.

— Попомните мое слово,— добавил он, шаря по стене в поисках выключателя.— Когда-нибудь один раз это все потопнет, извините за грубое слово, в самом натуральном дерьме. И боюсь, что потопнет не только этот подвал. Однажды вы вспомните слова старого еврея, но будет поздно.

Трепетно вспыхнули люминесцентные трубки. Переступив порог, я услышал ритмичное негромкое попкикивание: пш, пш, пш, пш . . .

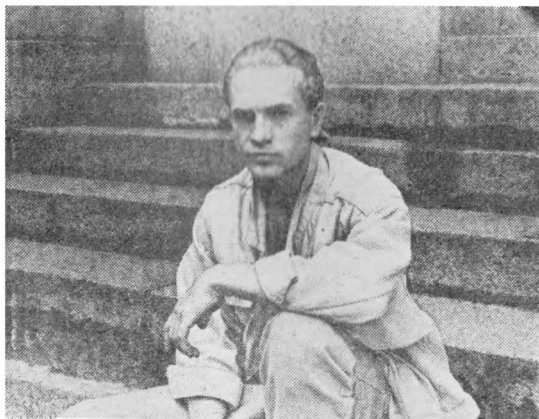
— Ну вот вам водородные часы, — произнес Хаим Залманыч. — Видит Бог, это очень хорошие часы, по ним даже можно сверять Московские куранты. Хотите верьте, хотите нет. Но за них я ручаюсь своей старой, никому не нужной головой. Потому что я их собрал сам, вот этими вот руками.

Возле стены, на обшарпанном письменном столе с жестяной инвентарной биркой, стоял куб из оргстекла. В его прозрачном чреве поблескивали латунные шестерни, мелькал шток, толкающий храповое колесо, суматошно кивало анкерное коромысло. На большом бронзовом циферблате, явно позаимствованном из старинных стенных часов, фигурные стрелки показывали без пяти четыре. Прозрачный куб венчала жестяная пирамида вытяжки, а ее коленчатая труба уходила в квадратную цементную заплатку на стене. Сбоку из куба торчал длинный шланг из черной плотной резины, он змеился по полу до угла, где впадал в круглый газовый редуктор, соединенный с двумя манометрами и штуцерами, а те, в свою очередь, крепились к двум длинным зеленым баллонам, лежавшим рядышком на козлах.

Вот эта фантазмагоричная конструкция и издавала мерное пшиканье.

— Вы сказали, это водородные часы?! — вырвалось у меня.

(Окончание следует)



ТАТУИРОВКИ

Перевел Дмитрий КУДРЯ

СВЕДЕНИЯ ОБ А. ЖЕБЕРСЕ

Я родился в 1958 г. в Риге,
В семье рабочих.
Отец — сварщик.
Мать — прессовщица.
Я — татуировщик.

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ТАТУИРОВКАХ

Когда тонкий, подсохнувший защитный слой отпадет — откроется рисунок — это татуировка.

1. Татуировки не врожденные.
2. Люди сбрасывают кожу, татуировки остаются.
3. Мы растем, и татуировки растут вместе с нами.
4. Татуировки пахнут потом.
5. Умирает человек — умирает его татуировка.
6. Духи своих татуировок не показывают.

Ночью татуировки не видны, но они ощущаются. Под кожей пульсирует кровь, и рисунок дышит.

ТЕМНЫЕ СУЧЬЯ

Брат моего отца
избитый по пьянке
умер
второй брат отца
с перепоя
умер

его сын родился
с кривыми ногами
без волос
умер
второй сын родился
алкоголиком
мой третий двоюродный брат
сидит в тюрьме
за убийство
муж моей двоюродной сестры
за изнасилование
брат моей матери
выйдя из тюрьмы
пьет себе на здоровье
если еще не
умер
я сижу
под темными сучьями
родословного древа
шариковой ручкой вожу
по жилам и венам
и виршами тешу
души умерших

СИНИЙ ПЛАТОЧЕК

Только раз
Побывал я на заводе,
Где работает моя мать.

Она стояла у огромного темно-серого пресса
В скромненьком синем платочке.
Пресс величественно поднимался и опускался,
Выдыхая белые клубы пара,
Которые выглядели, как шарики в комиксах
С пояснительным текстом:
«Я люблю тебя» поднимались они вверх и
«Я тебя не забуду» лопались
У железобетонных небес цеха.

Моя мать работала,
Погрузившись в раздумья.
Руки привычно делали свое,
И Лайма легкой промышленности
Благословляла готовую продукцию.

Только раз побывал я на заводе,
Где работает моя мать.
Она говорит, что вполне освоилась здесь
И пользуется уважением товарищей.
Словно подтверждая этот факт,
Новое облачко пара
С прессом огромным в такт
Отчетливо провозглашало
Рождения новой детали акт:
«Я — тебя — люблю»,
На что Лайма отвечала:
«Хау ду ю ду!»

РАССВЕТ

Чуть слышно журчит ночь
Как избавление
Ожидая зарю
Тоненько запекает трансформатор
Провода начинают благоухать
Восходит телевизор
Природа пробуждается

МАШИНА ВРЕМЕНИ

Каждый вечер незадолго до 19.00
В подворотнях начинают тесниться люди
С помойными ведрами в руках —
Этими миниатюрными эталонами цивилизации.
Ровно в 19.00 приезжает мусоровоз,
Куда люди выбрасывают свой прошедший день.
Завтра в 19.00
Машина приедет снова —
И ритуал повторится.
Так день за днем,
Пока не настанет их черед.

* * *

Сиротинка с сундуком
Накопила целый банк,
На заводе под землей
Молодец клепает танк.

Получив свои деньжата,
Жеребца стального моет,
Заезжает за подружкой
И везет с собой в ночное.

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ

Я, Калниньш Янис, сын Петера,
По профессии бухгалтер,
В пятницу стоял у окна в своей конторе
И наблюдал за прохожими.
Было без четверти час.
У меня есть привычка
Ровно в час дня высовываться из окна
И плевать кому-нибудь на голову.
Так вот, в час я, как обычно, выглянул в окно.
В тот момент мимо меня пронеслась какая-то старая
карга
И треснула меня метлой по башке.
К сожалению, больше ничего вспомнить не могу

* * *

Вытатуированные на трамвайных сиденьях
катаются национальные отношения,
но симпатичная девица, сидящая рядом,
передает свои мысли по интернациональным
тропам.

УБЕЖИЩЕ

Вечернее радио мечет рок-н-роллы
Из своих электрических внутренностей
и раскаленная лампочка
согревает ночь
по траншеям проводов
ползет цивилизация и уничтожает
Динозавров — сотнями
Мамонтов — тысячами
Прочую живность — миллионами
И только в пещере твоего рта
Под сводами губ
Можно укрыться
Притихнуть затаиться
Мне — пещерному человеку
Когда вечернее радио мечет рок-н-роллы
Когда лампочка согревает ночь
И по окопам копошится цивилизация



Сигисмунд Видберг.
Из цикла
«Страшный год».
Господи! 1953



ИЗ ДНЕВНИКОВ (1918—1921 гг.)

Перевела И ЦЫГАЛЬСКАЯ

Иванде КАЙЯ — латышская романистка. Кайя — псевдоним (буквально — Чайка). 13 октября 1876 года в семье торговца родилась девочка, названная Тонией; фамилия ее, значившаяся с 1887 по 1895 год в списках учениц Ломоносовской гимназии в Риге, была Мелдере-Миллер. Выйдя замуж, Тония Мелдере-Миллер превратилась в госпожу Лукину. Недолгое время (в начале XX века) бывшая рижская гимназистка изучала философию в Берне и Лейпциге. Ей было уже за тридцать, когда в печати стали регулярно появляться за ее подписью статьи по «женскому вопросу», по проблемам воспитания. В 1913 году вышел в свет роман Иванде Кайи «Первородный грех», имевший шумный и несколько скандальный успех: тогдашняя публика была шокирована прямотой, с какою в романе обсуждались интимные стороны жизни женщины. У сегодняшнего читателя эти претензии вызвали бы разве улыбку...

В независимой Латвийской Республике Иванде Кайя успела стать видной общественной деятельницей, влиятельной журналисткой, успех имели ее новые романы «Под ярмом», «Сфинкс».

Дневниковая запись 5 апреля 1921 года оказалась, однако, последней в жизни писательницы. В Валмиере, куда она выехала с лекцией, с ней случился удар — она лишилась слуха и дара речи, оказалась полупарализованной, — и в этом состоянии ей суждено было прожить еще два десятилетия. Скончалась Иванде Кайя 2 января 1942 года и похоронена на Лесном кладбище в Риге.

В 1928 — 1931 гг. предпринято издание избранных Сочинений Ив. Кайи. Настоящая публикация подготовлена по десятому, дополненному тому этого собрания Сочинений («Zelta grauds», Rīga, 1931). В послевоенной Латвии имя Иванде Кайи почти не упоминалось, книги не переиздавались и были заперты в спецхране; десятый же том, содержащий, в частности, последние дневники писательницы, был почти целиком уничтожен. В результате публикуемые ниже страницы практически неизвестны не только русскому, но и латышскому читателю

Дневниковые записи переведены не подряд, а выборочно и даются с некоторыми сокращениями, не искажающими, на наш взгляд, общей картины смысла и характера этого человеческого документа проступающей достаточной отчетливостью.

Р. Д

У Янтарного моря, вторник,
23.VII. 1918

Сегодня первый день за все лето, когда я чувствую себя ясной и веселой, как солнечное сияние. Сегодня все хорошо: хороший сон, чудесный день, прекрасное море: бурное, а вода теплая. Я долго кувыркалась среди волн, качалась, тонула, как чайка! Потом поднялась на горку, собрала целую охапку полевых цветов. Во всех вазах полевые цветы. Это удивительно, как они на меня действуют, как успокаивают. Пахнет пойменным лугом... Кажется, что я у ручья, пью, ополаскиваюсь. И у берега летают, резвясь и танцуя над серебряным зеркалом реки, голубые бабочки — небесные ключики!

Сон был «со значением». У меня в руке — большой каравай белого хлеба, красивый, свежий, и замешано тесто для тминных булочек, сдобное, пахучее. Это, как правило, предвещает мне успех в работе. Все время я ждала такого сна, плохого или хорошего, и вот дождалась! Я посмеялась, но чувствовала себя в самом деле спокойнее, кажется, все-таки не совсем это бросовый труд (Янтарная земля)¹. До сих пор я работала с отчаянием, но теперь самое трудное, несомненно, позади; первая часть, 168 страниц, уже готова. Это больше трети. Все это скучное начало — история народа, обычаи — уже позади. Теперь закипит жизнь. Уже несколько дней работаю с наслаждением, и дело подвигается.

Майори, воскресенье, 28.VII. 1918

Болит голова, работать не могу. Весь день лежала на пляже и изучала все ту же историю древней Пруссии.

¹ «Янтарная земля» — исторический роман И. Кайи о древних пруссах.

Мисиньш¹ забрасывает меня все новыми материалами. Он приехал в среду и оставался до вчерашнего дня, так что на прошлой неделе я не работала. Написано 200 страниц. Мы хорошие друзья, я его очень ценю. Мы можем без конца говорить о латышской литературе, истории, народных песнях и сказках. Я его называю золотым Мисиньшом.²

Прошлой ночью после долгого перерыва опять во сне видела Аспазию и Райниса. И Зелму. Может, будут какие-нибудь известия через Зелму. Горюю о них обоих, не знаю, как они перебиваются, проели, наверно, за четыре года войны весь юбилейный капитал Аспазии, а доходов ждать теперь неоткуда. Они — по крайней мере, Райнис — работают, после войны опять будут деньги, можно бы подзанять под это, но у кого одолжить?

Каникулы у С. через две недели кончатся, 13.VIII начинается школа. Я думаю, если погода будет хорошая, поддержу ее здесь еще неделю, сначала ведь все равно не учатся, слоняются без дела, и еще ведь так рано, по-старому только 31 июля.

Мальчиков видела во сне, только плохо помню. Все смотрю на присланную фотографию, где они вышли очень похоже. Такие же, как были, на лицо ничуть не изменились. Насколько выросли, не видно. Посмотрим, приедут нынешней осенью или нет. Я ужасно жду. По детям очень скучаю. На пляже, когда вижу таких мальчуганов, сердце болит. Бедняжки, у них там совсем нет друзей...

Осень обещает в Риге новую жизнь. Из Петербурга возвратилось немало

¹ Янис Мисиньш (1862—1945) — библиотечарь, основоположник латышской научной библиографии, основатель крупнейшего книгохранилища.

² Игра слов: «Мисиньш» по-латышски буквально — латунь.

интеллигентов. Какое-то общество намерено возродить латышскую оперу.

Майори, понедельник, 29.VII.1918

Погода держится ясная и приятная, не жарко. Голова все болит, но надо брать за перо: в пятницу придется ехать в Ригу, так что на этой неделе много поработать не удастся. Так хочется полениться в хорошую погоду, полежать на солнышке у моря, вообще — ощутить себя такой же женщиной, как все: почитать интересный роман, заняться рукоделием. Но — работа не дает покоя. И давно уже, с тех пор как начались мои литературные занятия, я не знаю, что такое досуг. Всюду чувствую себя, как исследователь, как служанка искусства: в обществе смотрю на людей как на объект изучения, природу больше наблюдаю, чем наслаждаюсь ею. Как только покажется, что я какого-нибудь человека достаточно «исчерпала» — он мне надоедает, не хочу его даже видеть, отделяюсь от него и ищу другую «модель». И люди это понимают, но хотят быть моделью, избегают меня. Тогда я сержусь. Это блаженство — быть художником, творить, но — иногда хочется быть и человеком, совсем обычным средним человеком среди людей. А это невозможно, и тогда искусство начинает тяготить.

Вечером

Голова болит, ничего не могу делать. Взяла, правда, с собой работу на пляж, однако я даже и думать не в состоянии. Читала книгу рассказов Блауманиса «При свете лучины». Какая образность! Там кипит сама жизнь, реальная, подлинная, и все так пластично, фигуры такие живые и живописные. Поразительно! Раудупиете и Крустыньш — настоящий трагизм!

Не знаю, как мы тут с С. проживем еще 2—3 недели! Живем впроголодь, перебиваемся обедами от Бюргерхейма, хлебом и черным кофе. Молока давно уже нет, а мяса не видели все лето. Однако ничуть не похудели. Ах, как я жду осени, в надежде, что Ф. с детьми вернется. Не могу перенести этого страха за них и неизвестности — вот что главное. Если бы я знала, что они нынешней осенью не вернуться, то устроилась бы как-то по-другому, не ждала бы.

Майори, воскресенье, 11.VIII.1918

В городе свирепствует тиф.

Ах, скорей бы уж приехали мои дорогие мальчишки! Ф. тоже тут было бы лучше, хотя заработки здесь будут меньше. Но там все равно почти ничего не остается, все, что лежит в банке, конфискуют большевики. Их теперь пытаются свергнуть, но они уцепились за власть: вот-вот падут, — нет, не падают.

Среда, 14.VIII.1918

Не знаю, где мои дорогие, скитаются ли бездомные, мерзнут ли по ночам в бараках? Хотя бы приехали, пока еще тепло. Но боюсь, как бы не оказалось, что большевики мобилизовали врачей: тот врач, которому Ф. дал письмо для меня, тоже еще не приехал в Ригу.

Пятница, 23.VIII.1918

Смертельная усталость, никаких сил. Весь день опять в беготне. Едва держусь на ногах. Но теперь все делаю опять с радостью, так как знаю, что мои дорогие всерьез собираются ехать: к Менг. приходили из тайной полиции за сведениями о политических убеждениях Ф. Их отправят на отзыв в Германский Балтийский комитет, и тогда Ф. получит разрешение, так что с последним транспортом сможет приехать. Что ж, будем ждать. Только бы не начались заморозки.

Четверг, 29.VIII.1918

Ни слуху ни духу. Прямо беда, даже и не знаю, что думать. Приезжают оттуда то один, то другой, но письма никто не привозит. Погода хорошая, солнечная, и тепло. Если они в пути, то еще не замерзнут. Только бы не опоздали.

Воскресенье, 31.VIII.1918

Все то же. На душе так тревожно. Все возвращаются, а моих все нет. Жду с нетерпением. Так беспокойно, я в таком смятении, ни за что не могу приняться. Последние дни болела — испанкой, которая нынче летом, начавшись в Испании, обошла всю Европу. Это эпидемия инфлуэнцы.

Вторник, 3.IX.1918

Сегодня ровно год, как в Ригу вошли немецкие войска. И немцы всюю празднуют, поют, веселятся. У латышей обычный рабочий день.

Ах, может быть, у меня скоро кончатся дни горя, тоски, — скоро мои дорогие будут дома! С какой радостью я буду о них заботиться, насколько хватит моих небольших сил.

Воскресенье, 14.IX.1918

Жду, жду, не дождусь... Мне кажется, они не приедут. Если бы знать. Погода еще хорошая, только ночи все холоднее. Как же они поедут поздно!

Четверг, 19.IX.1918

Все нет и нет. Говорят, что к концу этой недели в Ригу прибудет витебский поезд, пассажиры которого 10 дней сидят на карантине в Пскове...

Австрийцы, разумеется, с ведома Германии, предлагают мирные переговоры. Теперь, когда войска кайзера после 4-летнего триумфа вынуждены отступать наконец стройными рядами! Только теперь у Германии наступает протрезвление, только-только она начинает понимать, что своим «бронированным кулаком» она весь мир не поставит на колени, не обратит в рабство все народы. Официальный ответ союзники еще не дали, но полуофициальный уже известен — категорический отказ.

Четыре года Германия неотступно мечтала подписать мирный договор в Париже. Но как бы теперь не случилось невероятное — что его будут подписывать в Берлине! Германия требует мира «без аннексий и контрибуций», но — в последнем выступлении вице-канцлера Пайера подчеркивается, что на западе Германия согласна на *status quo ante bellum*¹, а на востоке пусть Германия остается все полученное по Брест-Литовскому мирному договору с Россией (Латвия им, Польша, Украина, Южная Россия, Балтийское море и Черное море!) и по Бухарестскому договору с Румынией, и 6 миллиардов рублей «возмещения убытков» за разрушенную Пруссию. А о разрушении Бельгии

¹ Положение, существовавшее до войны [лат.].

Пайер не поминает ни словом! Слава Богу, англичане и все союзники категорически заявляют, что никогда и ни за что не признают Брестского мира и завоеваний Германии на Востоке. Что это за завоевания? Когда Россия, ослабленная революцией, братаясь на фронте с немцами, добровольно вышла из рядов воюющих, тогда германская армия беспрепятственно двинулась вперед на Латвию, Эстонию, Украину etc. И все это хочет удержать!

Воскресенье, 22.IX. 1918

Ф. с детьми уже в пути. 6 сентября выехали из Витебска. Только что была у меня госпожа Тр., жена инженера, которая выехала вместе с Ф. и уже в четверг приехала в Ригу. Они еще не достали транспорт из Полоцка, где сидят на карантине... Немцы очень боятся холеры.

Значит, может быть, уже завтра я обниму своих милых! О Боже, какая радость! Никогда, никогда еще встреча не была такой желанной, никогда я не ждала с такой мукой, с таким страхом за их жизнь. Господи, хоть бы все пошло по-новому, забылось все прошлое.

Вечер воскресенья, 29.IX.1918

Сегодня ужасная погода. Так сыро, что пробирает до костей. А мои дорогие ночуют посреди дороги, в карантинных бараках... Я тут дома, закрываю окна, надеваю две вязаные кофты и пью горячий чай. У них ничего этого нет. Даже чая нет, только если есть свой котелок, то можно вскипятить. Ф. никогда ничего такого не умел.

Понедельник, 30.IX.1918

Меня так занимают личные дела, что не успеваю отметить важнейшие политические события в мире. На западном фронте англичане и французы: 1) здорово бьют немцев, 2) бьют болгар и уже протискиваются в Болгарию, 3) в Палестине бьют турок и быстро продвигаются вперед, многих забирая в плен. Последствия уже сказываются: Болгария отпадает от германской коалиции... «Vorwärts» предрекает, что за ней последуют — Австрия и Турция, и тогда: «Dann steht nur deutsches Volk allein gegen

Französer, Engländer, Italiener, Amerikaner etc, und kämpft mit dem Rücken an der Wand, den Untergang vor unseren Augen»¹.

Вторник, 1.X.1918

Приехали! Мои бедняжки наконец-то дома! Боже милостивый! В каком виде! Грязные, оборванцы в полном смысле слова. У детей ни лямок, ни подвязок, все держится на веревочках; редкая пуговица соединяет полы пиджаков. Ни одной порядочной вещи — ни на себе, ни с собой. Носки все рваные, белье! . .

Что им пришлось пережить за три недели в бараках! Ф. совсем болен, хрипит. Дети тоже отощали ужасно, но, слава Богу, здоровы.

Суббота, 12.X.1918

Да, как я и опасалась, Ф. не хочет отдавать мальчиков в этом году в школу. Пусть занимаются дома, давать уроки будем он, я и С.! Вот это будет учение! И я опять впрягусь, как лошадь, о своей работе нечего и думать!

Воскресенье, 17.IX.1918

Чего только не произошло за этот последний месяц: 9 ноября в Берлине началась революция, Вильгельм II отрёкся от престола, и все короны германских мелких правителей покатились по улицам — все или отреклось, или отставлено. Немцы умоляли наших союзников о перемирии и получили его на 31 день, — но такое, что они в ужасе. Молят чуть ли не на коленях о милости. Однажды Вильгельм сказал, что он поставит на колени всех своих противников! . . Всех господ в Германии прогнали, весь рейхстаг социал-демократический, наполовину с независимыми. Правят советы солдат и рабочих. Хотели полностью ввести большевизм, но союзники намеркнули, что надо объединиться и установить демократический строй в стране, вести борьбу со всеми большевистскими тенденциями, в противном случае — не дадут хлеба и с оружием в руках будут воевать с любым про-

явлением большевизма, где бы он ни возник.

Но **всё** революции прорастает всюду, в **маленьких** северных странах, и в Италии, даже в Бельгии бельгийцы брытаются с уходящими немецкими солдатами — если можно верить немецким газетам. Мир, какой бы он ни был для немцев, все равно теперь будет после перемирия; но не загорится ли вся Европа пламенем революции? Народы-победители, правда, не устраивают революций; Англия, Франция теперь ликуют. Но — не слишком ли все-таки затянулась эта война, ведь народы измучены до последнего? Они, может быть, потребуют себе права, каких гражданские политические вожди не захотят им давать.

Высокие волны эмоций вздымаются опять и у нас, в Янтарной стране. У немцев уже нет прежней власти над Латвией, но они должны оставаться здесь на страже порядка, пока это считают нужным союзники. Таковы условия перемирия. Нам обещана полная независимость согласно праву народа на самоопределение. Сейчас все политические партии активно действуют, дискутируют. В скором времени, говорят, партии объединятся, и тогда будет объявлена независимость, а также состав временного правительства.

Понедельник, 18.IX.1918

Сегодня провозгласили Латвийское правительство! Президент — агроном Улманис. Кабинет он еще не составил.

Вторник, 19.XI. 1918

Кабинет министров: иностранных дел — Мейеровиц, внутренних — Валтерс с товарищами адв. Бирзниеком и Бенусом, финансов — адв. Юрашевскис с товарищем Пуриньшем, земледелия и продовольствия — сам президент, товарищи — Блумбергс, Бауэрс и Авг. Калныньш, министр просвещения — Каспарсонс, труда — Германовскис! Пока все хорошо! Еще нет министров дорог, юстиции и торговли. Наши самые прекрасные мечты сбылись!

Суббота, 30.XI.1918

Наше новое правительство посте-

¹ Тогда немецкий народ окажется один против французов, англичан, итальянцев, американцев и т. д. и, припертый к стене, погибнет на наших глазах [нем.].

пенно формируется; еще не приняло все дела от прежнего немецкого правительства, надеется взять все в свои руки на следующей неделе. Положение неопределенное, все зависит от мирной конференции, то есть от благосклонности англичан. Надо надеяться, они поддержат стремление латвийцев (к самостоятельности), ибо Латвия, Эстония могут сделаться в будущем в торговле с Россией еще важнее для них, чем были до сих пор Скандинавские страны. Российский рынок они хотят со временем полностью подчинить своему влиянию, вытеснив оттуда Германию. В Германии революция бушует прямо по русскому образцу — с большевизмом, диктатурой рабоче-солдатского совета...

Нам грозит нашествие большевиков: германские оккупационные войска уходят, а народное ополчение еще не организовалось, англичане на помощь не идут. В Псков и Нарву большевики уже ворвались, все разграбили. В Риге все гостиницы переполнены псковскими беженцами. Большевики только и ждут, чтобы ушло немецкое войско; тогда придут и свергнут новое правительство Латвийской Республики.

Рига, 3.1.1919

Вчера Временное правительство Латвии отступило в Курземе, а сегодня уже валят валом большевики. Столько печальных событий в последние дни, даже часы. Новогодним утром Х. принес добрую весть, что положение на фронте немного улучшилось, так что, может быть, даже не придется бежать. Отъезд был отложен. Мы обрадовались и с облегчением вздохнули, прилегли после обеда отдохнуть от нервного напряжения последних дней. Вечером в восемь часов вдруг приходит известие, что завтра утром правительство должно уехать. Так и случилось. Вчера был очень беспокойный день. Правительство уходит, англичане свои корабли убирают. Большевики у ворот города: у Юглы и Икшкиле. Вся интеллигенция бежит кто куда, остаются только женщины и дети, да совсем нейтральные, бесцветные «болтуны»; нашим добровольцам, бедной нашей армии, плохо одетой, разутой, оставшейся без продовольствия, пришлось

также отступить в Курземе. И там местные большевики, по слухам, уже поднимаются. В Лиепае волнения. Куда же податься всем нашим беженцам во главе со своим правительством!

Суббота, 4.1.1919

Вчера ночью кровь текла по улицам Риги. И у церкви Гертруды из моего окна тоже видно большое кровавое пятно, там около двенадцати стреляли, как рассказывает Ивар. Мы с Ф., занятые горячим спором, не слышали. Вся церковь была в красных сполохах: горели военные продовольственные склады, их подожгли сами немцы. Сегодня с большим гвалтом въехала по Александровской улице «советская» Красная Армия. Печальное, ужасное впечатление она оставляет, как и вся вообще власть, которая с ней приходит. Просто отчаяние берет: какое-то красное безумие! Если под такой властью придется жить долго — волосы встают дыбом: что будет с Латвией! В Курземе «безземельные» уже поднимаются, в Елгаве, Лиепае — всюду волнения. Как же они спасутся? Успеют ли на каком-нибудь судне уехать в Англию? Бедные школьники, добровольцы-солдаты — теперь мечутся по Курземе между враждующими силами. Скорблю о них, обо всех. Я просто не могу ходить по улицам, меня охватывает ужас, холодное отчаяние. Большевизм еще никому, ни одному классу не принес избавления, исключая их главарей. Голод же, холод, нищета царят теперь во всей России, и то же самое ожидает и Латвию, отрезанную отныне от остального мира... Попадут эти страницы к ним в руки? Я не боюсь — мне уже нечего терять. Если меня и посадят на какое-то время, это мне пойдет только на пользу, — отдохну от непереносимого бремени труда и забот. Слишком тяжело мне сейчас. Может быть, возобновилась бы работа духа? Не страшно, если даже заставят подметать улицы, я всегда была демократична, всю свою жизнь, и никакую работу не считая унижительной. Только бы не дали такую, которая превышает мои физические силы. Голова болит невыносимо.

Воскресенье, 19.1.1919

Какой ужас! Розу Люксембург и

Карла Либкнехта в Берлине линчевала толпа... Как далеко это зайдет? Так обе стороны будут свирепствовать до последнего лучшего человека. В России большевики уже не могут, говорят, найти офицеров для Красной Армии, — все уже перебиты. Хотя оба убитые — Люксембург и Либкнехт — были немецкие большевики, все равно от этого ужаса холодеет сердце.

Вторник, 20.1.1919

Сегодня день памяти революции Пятого года. Демонстрации, митинги етс. О плане действий латышских большевиков ходят ужасные слухи. Нам нечего больше терять, осталось только умереть голодной смертью. О себе я не особенно беспокоюсь, но бедные дети. От одних рассказов мальчиков о России, как там дети мерли от голода, мне делается плохо...

Вторник, 4.11.1919

Действия большевиков в школьном деле можно приветствовать: они уравнивают в правах сословия; все школы делятся на две категории: 6-летние основные и 4-летние средние, из первых все переходят во вторые, все бесплатно. Городские школы разделили по национальностям, причем каждая нация должна учиться в своей школе. Бедной госпоже А. также придется испытать эту горькую чашу! Она упрямо посылала своих детей в старую немецкую школу, пока их оттуда не выставили.

В политике еще новости. Латвия, очевидно, по решению союзников, отойдет под власть Швеции. Улманис уже поехал вести об этом переговоры в Стокгольм, и шведское войско, говорят, идет через Эстонию, вместе с эстонцами и финнами, в Латвию; от Валки большевики отогнаны. Зато на западе — сегодня большевики сообщают о взятии Вентспилса.

Пура картофеля стоит уже 200 рублей, фунт масла 25 рублей — если его вообще можно купить, тайком у какого-нибудь крестьянина. На базаре ничего, ну ничегошеньки, кроме квашеной капусты по 40 копеек штоф. Бедные женщины, плача, ходят по базару, ищут хотя бы свеклу, которая еще кое-где попадается — мороже-

ная, подгнившая, по 50 коп. фунт. Голод в полном смысле слова наступил в Латвии, ни о чем таком не слыживали даже в немецкую оккупацию.

Воскресенье, 8.11.1919

В последние дни большевики отовсюду ждут наступления, на фронте их дела плохи. От Валки идет шведское войско вместе с финнами и эстонцами. У Латвии перспектива — шведский протекторат. Временное правительство заключило соглашение с Англией. Так писала «Циня».

О политике теперь нельзя даже думать. Впервые в жизни пишу дневник и не осмеливаюсь высказывать свои мысли! Такого режима еще не было. Интеллигентом быть опасно: любого из нас могут в одиннадцать ночи увезти в неизвестные края. Свободы слова нет; как только большевики переступили порог страны — все умолкло. Латвия теперь нема. Какое бы правительство ни было, любое терпело известную, пускай вежливую, критику, а большевики не терпят ни полсловечка: их действия должны быть вне критики. Всех охватило оцепенение. Впечатление монгольского нашествия. Стучка и Данишевский уже уселись во главе правительства в Риге; комиссар (т. е. министр) земледелия — Розиньш-Азис, дорб — Дерманис, труда — Карклиньш. Таким образом, что кому разрушать, они распределили. В одном убежден каждый, кто видит наступление сей напасти: эти люди — не из тех, кто способен созидать, что-то строить, нет: только разрушать. Как бы там ни было, я по-прежнему остаюсь сторонницей социалистических идеалов, но я не могу забыть, что новый социальный порядок не свалится вдруг с неба, и насильно его не введешь до тех пор, пока не будет для него подготовлен человеческий материал. Да, я не могу избавиться от сомнений: будет ли человек вообще когда-нибудь способен — по своей природе — воплотить этот идеал. Нет, я не могу в это поверить и поэтому не могу активно для этого работать.

На днях видела на улице отряд марширующих английских матросов. Это тоже не вызвало во мне восторга. Бравые ребята, хорошо одеты, дисциплинированы, как автоматы, не-

красивые на вид и — бессердечные. Лица обветренные, жесткие, безжалостные, сухие. Кажется, эти ничего не сделают из простого сочувствия, милосердия, и даже не верится, что те идеалы, во имя которых они якобы воюют, подлинны.

Куда идет человечество?

Суббота, 11.11.1919

При мысли о будущем охватывает полнейшее отчаяние: вся жизнь пропала, Ф. болен, почти нетрудоспособен, за ним надо ухаживать; ему бы надо в Давос хотя бы на год, как он говорит, но как это сделать, если бы даже был мир на земном шаре и туда можно было бы добраться?

Политическая жизнь вокруг свелась к страху за бедную растерзанную Латвию, на чьих развалинах большевики сейчас справляют свои оргии. Издалека, в теории, их идеалы кажутся довольно возвышенными и приемлемыми, порой даже великолепными по своему размаху, но в жизни это — сплошной ужас! Все крушить и крушить, кормить людей обещаниями, пустыми, невыполнимыми; еще брань, науськивание сословий и классов друг на друга — вот, пожалуй, и все. Единственная надежда — если произойдет мировая революция, то в ней одержит верх человеческий разум, а не безумие, как в русском и латышском движении. Всем, у кого жива в сердце хоть какая-то человечность и немного развито эстетическое чувство, противно читать их газеты. А других теперь нет. В духовном смысле Латвия — настоящая пустыня, вся интеллигенция сбегала от большевистских ужасов: почти все писатели, журналисты. Я бы так хотела уверовать в их идеалы, ибо это неопровержимая истина, что большая часть человечества терпит несправедливость, обиды, и при виде бедствий, нужды и полной горя жизни низших слоев сжимается сердце. Там все взывает к небесам об избавлении.

Их цели я по большей части могу признать, но их страшная тактика вызывает во мне ужас.

Многие из арестованных уже арестованы. В последние дни все оставшиеся здесь журналисты арестованы — Блаус, Аронс. Лт. однажды выехал в Курземе, наверно, купить продукты, а в одиннадцать за ним при-

ходили. Так ему посчастливилось ускользнуть.

Живем в тени, отбрасываемой смертью!

Суббота, 15.11.1919

На детей жалко смотреть. Полуголод: живот есть чем набить, но питание никудашное. Мальчики совсем худые. С. еще держится. Из пропитания ни на базаре, ни в магазинах ничего не купить, все живут остатками запасов, и нам изредка приносят кое-что большие¹. Так надеемся протянуть.

Во Временном правительстве, слышно, большие перемены. Президент министров вместо Улманиса адвокат Замуэлс, сам Улманис уже только министр земледолия; Валтерс совсем ушел, на его место Бергс.

Воскресенье, 16.11.1919

Вся сила уходит на физическую работу, заботы, борьбу с нуждой и грозящей бедностью. А тут еще большевистские декреты — платить подоходные налоги и людям свободных профессий, отдавать также все лишнее белье, одежду, постельное белье. Пусть приходят, все забирают, лишь бы оставили жизнь. Да и жизнь надоела до смерти, дети только и привязывают еще к ней.

А мир все не успокаивается. Весной опять, наверно, начнется — империалисты пойдут на большевиков. И тогда опять земля Латвии будет залита морем крови.

Рига, воскресенье, 22.11.1919

Только полтора месяца живем в большевистском раю, а жизнь уже надоела до последнего. Когда нам рассказывали о большевистской дороговизне, мы слушали, как сказку, и вот — это наша действительность. Хлеб и у нас стоит 6 руб. фунт, если где-нибудь можно достать. Масло 25 руб. Мяса не видим с их приходом никакого, кроме конины, 4—6 руб. фунт. Даже в коммунистической «Цинне» раздаются голоса рабочих, что такой рай мало чего стоит, и в этом раю приходится умирать с голоду, ведь если даже рабочий зарабатывает 16 руб. в день, он не может прокормить на них семью в 4—6 че-

¹ Муж И. Кайи, Ф. по профессии был врач

ловек, когда хлеб по 6 руб. фунт. К тому же выплачивают жалованье «керенками», за которые продуктов никто не продает. Если бы нам ко-что не привозили больные, мы бы по-настоящему голодали. Рабочие в «Цине» кричат и подзуживают друг друга, мол, буржуи едят телячье жаркое, белый хлеб, собак поят молоком, стоит только наведаться в их погреб, там молочные реки, кисельные берега! В нашем доме др. Х. и все прочие перебиваются казенным супом за 15 коп. Один доцент политехникума просил Марию, не отдаст ли она ему свою суповую карточку, если сама не использует, ему одной порции мало, а другого ничего нет!.. Те, кто стоят в очередях за этим водянистым супом, все такие исхудавшие, с опухшими от голода лицами. «Буржуи» по большей части уже продавали свою лучшую одежду и все, без чего можно обойтись. Пусть приходят и убедятся сами.

Когда идешь по улице, впечатление такое, что город вымер от чумы: тишина, никого, магазины почти все закрыты, а если какой-нибудь и открыт, то таращится на тебя пустыми витринами. Бросается в глаза, что много яблок по 15 руб. фунт. В деревне, говорят, изобилие, потому что нельзя вывезти, по дороге грабят. Таков наш рай! Все пролетариат тоскует опять по буржуазному аду.

Шведы и финны шаг за шагом наступают на Красную Армию от Айнажи, Валки, Алуксне, Пскова, и всюду, где пройдут сражения, остается разруха; большевики, отступая, страшно обстреливают «буржуев». И если они будут все наступать так тихонокку, то останутся одни развалины, залитые кровью, кровью братьев!.. На курземском фронте сражаются латыш против латыша.

Не заключен мир еще и в Западной Европе. Надеются, что будет заключен к лету. Все обсуждают и обсуждают, продлевают перемирие. В Германии большевизм пока что полностью подавлен, после смерти Люксембург и Либкнехта. Русские все же надеются, что их «коммунизм» завоюет мир, но я этому ни за что не поверю, думается, разумный социализм одержит победу над империализмом, а не большевизм, который плюет в глаза всякой человечности.

Опять Рига порезживает дни, полные гровог и ужаса. Белые уже у Елгавы, и красные готовятся к последнему отчаянному бою — не на жизнь, а на смерть. Рижане дрожат от смертельного страха, они ведь будут заложниками. Многие опять бегут кто куда. Мы не знаем за собой вины, к тому же больны и измучены, поэтому без страха смотрим навстречу все равно какому будущему. Жизнь в нынешних условиях надоела. Существование во время революции тоже ничего не стоит — головы катятся, как капустные кочаны. Мысли коченеют... живем в условиях страшнейшего террора...

Среда, 19.III.1919

Красные ушли, белые придут завтра. Страшная ночь. Рига опять никем не охраняется. Сегодняшняя «Циня» еще пишет о фронте, что белые под Елгавой разбиты! На самом деле белые сегодня уже под Олайне (20 верст от Риги), Елгава уже вчера взята. Красные там что ни день расстреливали белых, а теперь будут стрелять красных. О том, как в последние дни в Риге действовали красные, ходят слухи ужасные, безумные...

Из Риги красные не могут уехать, нет поездов, вагонов, паровозов. Опять — «предательство» железнодорожников. Они вчера куда-то уехали и не вернулись. Вчера уже мосты были заминированы, а сегодня все еще не взорваны. Может быть, их спасет какое-нибудь «предательство»!

В Риге настоящий голод, холод и болезни. От сыпного тифа каждый день умирают сотни. Нас до сих пор судьба милует. Только мерзены, хозяин мало топит.

Что-то будет завтра...

В России все уже сыты большевиками, даже железнодорожники все против них, а ведь были самыми горячими сторонниками. Крестьяне все против.

Четверг, 20.III.1919

Наступление белых остановлено. В Риге готовятся к эвакуации, но люди смеются. Кто мог, уехали вчера, в том числе некоторые комиссары, как,

например, комиссар здравоохранения с женой.

Суббота, 22.III.1919

И те и другие стоят на месте. «Циня» выходит и разглагольствует все с той же бравадой, что победа будет за ними. «Буржуев» истязают все сильнее: отправляют на принудительные работы даже врачей и студентов, хотя армия безработных в Риге огромна. Хлеба в городе опять нет. Раз за 4 недели получили небольшой паек, и вот уже 3 недели опять нет. Все, что только можно, запихивают в вагоны для отправки в Россию; что нельзя, как, напр. машины, ломают.

Понедельник, 7.IV.1919

Не могу уже писать даже дневник. Нельзя говорить, нельзя думать. Красный ужас кругом. Белая армия все стоит там, куда пришла. Красные увозят сотни заложников в Россию в концентрационные лагеря под Смоленск. Забирают ежедневно и спекулянтов, и строительных подрядчиков, и всяких «контрреволюционеров»; арестовывают женщин, а в последнее время даже детей, чьи родители сбежали. Начальница школы, где наши дети, госпожа Трауберг была арестована на основании анонимного письма каких-то заблудших школьниц, отсидела неделю, и только вчера ее выпустили — поручился какой-то незнакомый большевик. Я много думала о ней, бедняжке, все время думала с беспокойством и печалью. Так рада, что она опять на свободе.

О будущем мире нет смысла гадать, мы знаем большевиков только с одной стороны, вторая окутана толстым покровом лжи. Я лично думаю так: старый порядок уже не вернется, но напрасно столько мук перенесло человечество, настанет новая, лучшая, более справедливая жизнь, но это не будет большевистский «рай».

Они должны исчезнуть со сцены, иначе от всей достигнутой культуры останутся одни развалины, такие понятия, как человечество, справедливость и правда им всего лишь повод для насмешки. Социализм победит, но поведут к его победе лучшие борцы, идеалисты, соц.-революционеры и более культурные социалисты, а

не азиатские русские большевики. К сожалению, кажется, что всей Европе предстоит еще пережить эту страшную азиатскую чуму прежде, чем Европа выздоровеет и будет готова к культурному национализму. Пять лет страданий и, может быть, еще столько же пройдет в революционных муках, если не больше.

Величайшую из величайших исторических эпох мы переживаем как очевидцы. Велики наши муки, но велико и наше открытие: обновленными мы выходим из этого великого времени преобразований!

В Риге невиданный голод и разруха. У людей нашего круга тоже иссякают все запасы, кончается мука. Ни у кого ничего больше нет. Мы еще не можем жаловаться, нам больные приносят продукты попомбэнку, так что у нас все еще есть самое необходимое, можем даже помочь другим.

Нас еще судьба хранила от всяких истязаний, таких, как обыски, унижительные общественные работы, изъятие продуктов, конфискация одежды etc., etc. Да и из квартиры нас не выгнали (всем буржуям с Александровской улицы пришлось переселиться на острова — Закюсала, Кундзиньсала), потому что Ф. работает в III бесплатной амбулатории почти даром — 84 руб. в месяц!

Среда, 30.IV.1919

Правительство готовится к празднику 1 Мая. 5 миллионов керенокми истрачено на декоративную часть. Главные улицы выглядят роскошно. Они переименованы: Александровская в улицу Революции, Елизаветинская — Либкнехта, Суворова — Ласалея, Романова — Бебеля, Николаевская — Интернационала, Эспланада — площадь Коммунаров etc. И чтобы настроить публику должным образом, сегодня в «Цине» полно всяких сообщений о свергнутом Лиепайском латышском Временном правительстве, и что всю власть там захватили помещики, которые теперь идут на Ригу, несут новый гнет, розги etc., etc.

Как бы там ни было, там, в Курземе, у латышей дела плохи. У нас есть два номера «Liepājas sargs»* после

* Защитник Лиепай (газета).

12 апреля. Впечатление довольно гнетущее: у Временного правительства, очевидно, нет ни власти, ни серьезного числа сторонников; они зависят от милости англичан. 9 апреля туда прибыло первое судно с американским хлебом, и за это приходится униженно благодарить, как за подавание. На душе становится грустно, когда читаешь все это. У большевиков по крайней мере воодушевление и отвага и определенные желания, программа. Хотя и беспощадно, но они хотят покончить с немецкими баронами. Чем жить и дальше под прежними господами, пожалуй, в 10 раз лучше прозябать в стране большевистского насилия без человеческих прав. Нет — чтобы вернуться старое, мы не хотим ни за что!

Ивар с Витолдом 3 дня работают над плакатом. Мы не хотели пускаться, но он так просился, даже плакал. Я тоже ничего не имею против первомайского праздника, это интернациональный праздник всего трудового народа. Только бы не случилось у нас какого-нибудь кровавого безумия.

Рига, 9.V.1919

1 Мая прошло спокойно. Жизнь течет все так же, как началась при большевиках, без всяких перемен. Все угнетены до последней степени. Никто ни часа не может быть уверен, что в его квартиру не ворвутся и не перетрясут все до основания, не ограбят. При встречах у всех одна песня: кому какая нанесена обида. Стрельба, правда, сейчас вроде бы поутихла, по крайней мере в газетах больше не объявляют. У белых постоянные раздоры, раскол; только что в Курземе бароны с помощью военачальника Гольца, — пока латышские солдаты все на фронте, — взбунтовались из-за того, что Временное правительство объявило помещичью землю государственной собственностью; отменили Временное правительство и пытались основать свое; но по строгому указанию союзников все, кажется, осталось, как было. Один человек приехал из Лиепая и рассказал, что там Алберт арестован Улманисом за дружбу с немцами; через восемь дней отпущен и находится под полицейским надзором. Маленькое справедливое наказание за его высокую политику! Мир в Париже так еще и не подписан.

Пятница, 16.V.1919

И на нас ужасным призраком надвигается голод. Все кончается: картофель, свинина, масло, только хлеб еще можно печь недели две да варить черный кофе; молока всю эту неделю больше не видим; крупы еще хватило бы на то, чтобы сварить кашу раза два-три, но нельзя, надо приберечь на суп. Едим крапиву, которую еще можно купить 2—3 руб. фунт. На базаре продаются сморчки по 15—20 руб. фунт, редиска — 6 руб. пучок, морковь — 15 руб. фунт. Я прохожу мимо, этого мы не можем себе позволить. Практика у Ф. с каждым днем все сокращается, и платят по большей части только «ккеренками» и местными советскими деньгами (достоинством в 1, 3, 5 и 10 руб.), на которые на базаре можно приобрести упомянутые продукты, но ни мяса, ни масла, ни хлеба. ни молока у крестьян не купить. Подумываем, не уехать ли в деревню, но побаиваемся, что может произойти резкая перемена в политической ситуации, и тогда в сутолоке борьбы и накалившихся страстей пострадают и нейтральные, и кто знает, что между тем может случиться здесь в Риге с нашими пожитками.

В Видземе власть большевиков пошатнулась: основалась «зеленая армия» из мобилизованных рекрутов, которые, получив оружие, сбежали в лес и оттуда нападают на красных.

О мировой политике мы ничего не знаем, газетные сообщения скупы, к тому же искажены, так что до правды не докопаешься. Мир еще не подписан, и что будет, мы не имеем ни малейшего представления. Если верить тому, о чем трубят большевики, — начнется мировая революция, и тогда мирного договора не дожидаться. Воцарятся голод и война, разруха и смерть.

22.V.1919

В 12 часов пришло сообщение, что под Олайне прорван фронт, а около 7 вечера в городе уже появился первый броневик, а вслед за ним — кавалеристы. До 4 часов еще работали в комиссариатах чиновники, и лишь после этого началось массовое бегство. Что это было за бегство! Невиданная паника. Вооруженные коммунистки убегали пешком в белых

туфельках. Из нашего окна все было видно: как комиссары на углу собирались защищаться, но, как только приблизился броневик, все разбежались без единого выстрела. Только два милиционера защищались: спрятались за афишную тумбу и первыми стреляли в немецких солдат. Те спрятались за папертью против нашего окна и оттуда стреляли. Но никто не попал, милиционеры убежали. Выстрелы были слышны все время, пушечные снаряды из Задвинья и с улицы Бруниниеку, летели над нашими головами вслед убегающей Красной Армии . . . К вечеру все стихло. Погода первый день была теплая и сухая (когда коммунисты убегали, поднялся вроде как сухой вихрь, казалось, будто они на бегу вздымают всю городскую пыль и грязь), по улицам лил поток немцев и евреев, приветствующих своих избавителей; латышей было мало, и они вели себя весьма сдержанно, потому что бросалось в глаза пронемецкое настроение армии, хотя солдаты по большей части были латыши в немецкой форме. Было такое неприятное ощущение, будто мы вновь попадаем под немецкое иго. Мы, латыши, ждали латышей как избавителей, а тут — знакомая немецкая форма «feldgrau»¹, а когда притом зазвучала латышская речь, на душе стало совсем неуютно. Позднее Ф. встретил на улице Краст. и Пург. Они первые приехали с немцами! Разговаривая с ними, Ф. пришел в отчаяние: дела латышей совсем плохи, англичане и слышать не хотят ни о какой самостоятельности, мы в лучшем случае попадем под власть России, в худшем — Польши etc., etc. Ничего другого не оставалось, если хотели освободить Ригу, как только объединиться с немецкими юнкерами.

Я сказала, что они — те, кто занял Ригу, — наверно, немецкие авантюристы, юнкеры-заговорщики, узурпаторы, и этот заговор против правительства Улманиса, о котором писалось в газетах, еще не ликвидирован. Мир с Англией не подписан и не будет подписан. В таком случае можно предположить, что Германия затевает что-то против Англии, может быть, совместный поход с большевиками России. Войной она не могла

победить Англию, и вот надеется, может быть, добиться этого революцией.

На улицах всюду лежат убитые. Все мужчины, частично солдаты, только две женщины у нас тут близости на улице Базницас. Ужасно! У одной оторвана верхняя часть черепа — над челюстью, т. е. рот разорван напололам. Весь затылок оторван, мозг далеко в стороне; две большие лужи крови стекают в водосточную канаву . . . Эта — постарше, с обручальным кольцом на пальце. Вторая молже, у той большая дыра над переносицей. Рядом голубая «фельд-фебельская» фуражка. Обе со вкусом, хорошо одеты; на ногах изысканные лаковые туфли. Ужасно! . . .

На Эспланаде (площадь Коммунаров) горят два больших костра. Толпа; оргии мщения . . .

Таблички с названиями переименованных улиц сдираются.

Пятница, 23.V.1919

Эта женщина в голубой фуражке — некая ярая коммунистка, госпожа Стабл, 35 лет (15 лет была на каторге). За день до смерти она приехала из Тирзы, вместе с госпожой Мисиньш привезла в Ригу книги из библиотеки М. Госпожа Мисиньш целую неделю провела с ней и с ужасом вспоминает об этом, говоря, что все это время была в когтях у дьявола. На другой день идет она посмотреть на убитых женщин и в одной из них узнает свою страшную подругу! За день до этого Ст. приехала в Ригу, и не обнаружив на вокзале среди встречающих М., пылая гневом, сказала: будь М. здесь, получила бы револьвер под нос! — На следующий день сама получила пулю в переносицу. Она носила при себе револьвер и хвастала, что им ее подруга застрелила 3 буржуев. Они обе погибли (а указали на них евреи), так как не хотели сдаваться и грозили ручными гранатами. Ужас! Я положила подле тела госпожи Стабл веточку сирени.

Сегодня ходят самые противоречивые слухи: у немцев свое правительство, у латышей — свое, Улманиса. Ждут, что Улманис со дня на день войдет со своим войском. Но пока немецкие юнкеры празднуют кровавый пир, — страшная карательная экспедиция против большевиков-латы-

¹ Серая полевая [нем.].

шей. Один из карателей сегодня хватался, что стреляет большевиков, как воробьев, — 600 убитых! . . . В Курземе все исполкомовцы расстреляны . . . В Тукумсе к стенке поставлены 30 коммунистов.

Суббота, 24.V.1919

Передо мной сегодняшней номер «Rigasche Zeitung», в котором описывается последняя кровавая расправа большевиков в Риге: в Центральной тюрьме в последний момент расстреляны 8 пасторов и около 25 баронов и баронесс.

Но это бледнеет перед тем, что делают немцы, то есть те узурпаторы, которые захватили сейчас власть в Латвии и торопятся воспользоваться моментом, чтобы стократно отомстить — всему латышскому народу, чтобы как можно больше уничтожить латышей. Расстреливают беспощадно, почти без следствия; достаточно доносить, что это коммунист или просто большевик.

Политическая ситуация в Латвии сейчас весьма сложная. У нас вроде бы два правительства: одно Улманиса — Валтерса в Лиенае, второе — Ниедры, то, которое теперь вошло в Ригу. Ниедра очевидно пришел к выводу, что нет иной возможности спасти Латвию от ненавистного ему социализма, как только с помощью веками проверенного кнута и пряника немецких юнкеров. И вокруг него сплотились разные ультраконсервативные деятели, для которых собственное честолюбие дороже, чем благополучие всего мира. В латышской белой армии, которая вошла с немцами в Ригу, все как один за правительство Улманиса и слышать не хотят о Ниедре. В данный момент они, мол, потому объединились с немцами, что англичане требуют изгнания и преследования большевиков. Когда это будет сделано, тогда они-де расправятся с немцами. Да, англичане видят и понимают, что кабинет Улманиса, как истинно латышский, не способен достаточно энергично бороться с большевиками, это была бы братоубийственная война. Эту задачу в Латвии лучше всего могут выполнить немецкие юнкеры. Мне лично тоже весьма приятно, что кабинет Улманиса — Валтерса не участвует в этом деле — уби-

вать своих же братьев в своей стране, и что им вообще не приходится брать на себя такую реакционную задачу.

А действия балтийских немцев в настоящий момент просто ужасающие: будто вернулось средневековье, и они, бароны, опять всемогущие правители — хотя в духе современности и допускают правительственный кабинет с министрами-латышами. Однако же, войдя в Ригу, они уже действуют сами по себе, как будто и нет никаких латышских министров. Садятся на шею в буквальном смысле слова. Хомут какой-то, а не правительство!

Суббота, 25.V.1919

В Риге немецкая карательная экспедиция разгулялась вовсю. Улицы оцепляют, людей задерживают, и достаточно красной шапки на какой-нибудь девушке, чтоб ее забрали как коммунистку. В цирке, куда привозят людей со всего города, расстреливают сразу сотнями. Потом грузят на телеги, как дрова, и увозят всех неприкрытыми на Матвеевское кладбище. Большевики закопали контрреволюционеров в Гривинькалнсе и по окраинам на песчаных холмах.

Говорят, англичане дали латышам указание все сносить от немцев, пока не свергнуты большевики; после этого, дескать, немцам придется за все ответить. Англичане на стороне правительства Улманиса — Валтерса, и, пока оно не имеет возможности законно действовать, задерживают присылаемую провизию в Стокгольме и блокируют курземские порты. Продовольствие распределяют лишь в самом необходимом количестве. Завтра же четыре члена американской миссии должны явиться в Ригу — контролировать распределение продуктов.

Красные ужасно, говорят, мучили пленных белых, и за это белые их не щадят. Попавших в окружение красноармейцев немцы судят так: кого в Красную Армию мобилизовали, тех отпускают на свободу, а кто вступил добровольно и шел на борьбу, стреляют так же, как коммунистов. Так, в Пиньском лесу расстреляно около 70 человек, попавших в окружение. Когда заняли Даугавгривскую крепость, пощадил всех, кроме 20 коммунистов.

У одной матери белые расстреляли сына-красноармейца. Его приметы описал брат, белогвардеец, войдя в город! Красивый был парень, все восхищались им, лежащим на земле.

Трупов на улицах уже нет, убрали, но следы крови еще кое-где остались.

Понедельник, 26.V.1919

Страшна, ужасающе страшна расправа немцев с большевиками! Говорят, что поймано и расстреляно около 40 комиссаров.

Вторник, 27.V.1919

Сердце леденит ужас. Госпожа Ван. прибежала и рассказывает, что ее сына приговорили к смертной казни, нельзя ли его спасти. Побежала к господину Траубергу, который мне рассказывал вчера, что спас от смерти 5 коммунистов. Его нет дома — побегал спасать свою жену, начальницу гимназии наших детей: сегодня в школе потребовали выдать тех мальчиков, которые рисовали первомайские большевистские плакаты! Она сказала, пусть тогда расстреляют ее, это она детям разрешила рисовать. Выходит, и над нашими Иваром с Витолдом нависла угроза! Чтoб они покусались на жизнь детей, не верится, но, может быть, выпорют или что-нибудь в этом роде, я ничуть не удивлюсь. До сих пор немцы действуют ужасно, расстреливают по первому доносу, без следствия, целые группы. В Бикерниекском, Пиньском, Золи-тудском лесах масса солдат расстреляны как пленные красноармейцы, хотя сами же они говорили, что мобилизованных не тронут. Из взятых в плен в Ригу привезли только 400—500... Где же 30 000? Немцы похваляются, что взяты в плен 30 000 большевиков, и всех расстреляют...

Говорят, большевики, отступая, разоряют Видземе: хозяев, кого поймают, убьют, скот сгоняют и весь пристреливают. Люди, правда, поразбежались, попрятались в лесах...

Еще, говорят, коммунисты группами позапирались на чердаках. Из такого укрытия одна коммунистка застрелила четырех немецких солдат. Раз немецкие солдаты невооруженные проводили на кладбище своих погибших, а на обратном пути их обстреляли из какого-то дома. При этом погибло десять солдат. Бедняги! Зна-

ют, что им умирать, не от пули, так от голода, а тут еще эта последняя месть...

Приехала американская миссия, так что теперь расстрелы будут приостановлены, по крайней мере такие — без суда и следствия. Местные пасторы тоже подали прошение, чтобы суду и приговору предшествовало следствие.

У нас полон дом беженцев.

Пятница, 30.V.1919

Кажется, положение понемногу улучшается, страшные расстрелы поутихли; вот уже несколько дней действует военный суд, состоящий из латышей и немцев. Первый смертный приговор вынесли двум немецким офицерам и трем немецким солдатам за присвоение реквизированного у большевиков имущества.

Политическая ситуация все такая же неопределенная. Хотят вроде бы достигнуть соглашения между кабинетами Улманиса и Ниедры.

Была вчера на Матвеевском кладбище, куда свезены расстрелянные на улицах коммунисты. Около 200 уже захоронены, на земле оставлены для устрашения пятеро мужчин и две женщины, тела синевато-бледные. Страшное зрелище: люди валяются, как падаль, пропылившиеся, облепленные мухами. Они так и будут стоять у меня перед глазами до самой смерти...

Воскресенье, 1.VI.1919

На наших глазах Черный рыцарь вновь стремится захватить землю в свои руки и сесть на шею латышскому народу. С другой стороны — мы так слабы, что своими силами ничего не можем добиться в деле своей самостоятельности, полностью зависим от милости англичан. А у них и у самих нет ясности, как быть в конце концов с Прибалтикой. В газетах пишут, что этот вопрос не решить, пока не договорились с правительством России, то есть с Колчаком, которого они признают в данный момент главой государства (а не большевиков). Колчак известен как сторонник идеи неделимой России, так же, как русские дипломаты в Париже: Сазонов, Извольский, Маклаков etc. Россия в первые три года войны вынесла на своих плечах все тяготы, в то время как

Вторник, 3.VI.1919

французы и англичане еще только раскачивались, и за это она вправе участвовать в подведении итогов войны, нельзя обидеть Россию. Но окраины — Финляндию, Балтику, Украину и Грузию она уж не получит назад под старую абсолютную суверенную власть, мы сыты по горло господством русских. Мы, латыши, не чувствуем к России такой непримиримой ненависти в последние десятилетия, ведь по сравнению с балтийскими немцами русские по отношению к нам были сущие ангелы, поэтому мы Россию ощущаем в какой-то мере как свою мать-хранительницу. И в экономическом смысле мы под Россией несомненно процветали. В последнее время в хозяйственной жизни латышей было такое оживление, такая зажиточность и в культурном отношении расцвет такой, что каждому латышу оставалось только радоваться. Но, опасаясь реакционной России, мы уже не хотим назад под ее крыло. Тут уж ничего не поделаешь — новые государственные отношения должны образоваться и на севере. Неужели же призыв союзных стран — всем народам право на самоопределение! — окажется лишь пустым звуком теперь, когда они закончили войну победительницами!

На днях станет ясно — подпишет Германия мир или нет.

Несмотря на темные тучи, которые и по сей день закрывают небо Латвии, после ухода большевиков мы все-таки опять чувствуем себя людьми. Это был какой-то дурной сон, кошмар!

И с продовольствием гораздо лучше: мы уже купили на базаре рыбу. Большевики и тут действовали шиворот-навыворот: взяли рыбаков на жалованье, 600 рублей керенками в месяц, а рыбу всю себе; за такое жалованье... ало кто работал и выходил в море, а что удавалось добыть, то съедали сами комиссары. Ни при одном правительстве не слышано о таком использовании своего положения стоящими у власти, как у большевиков: у самих есть все, все себе «реквизировали», то есть награбили, а пролетарии должны обходиться газетными фразами и обещаниями коммунистического рая. Сейчас все опомнились, и ни один городской рабочий больше и слышать не хочет о коммунизме.

Политический горизонт еще не очистился, еще окутан туманными облаками, но чувствуется — настанут лучшие дни для человечества. И для бедной побежденной Германии. Она теперь избавилась от своих 20 князьков, и уж одно это стоит половины военных мук. Так радостно видеть, что жизнь опять входит постепенно в нормальное русло, с перспективой значительных реформ в социальном строе. Было красное безумие, оргии сорвавшихся с цепи бестий!

Дети опять учатся. Каникулы через две недели.

Понедельник, 9.VI.1919

Атмосфера наэлектризованная: чем все кончится в Латвии? Авантюры Ниедры — немецких юнкеров растут; союзники не хотят или не могут нам помочь, у них полно собственных забот: в Индии, Афганистане, Египте, — народы повсюду пробуждаются. А они думают устроить мировое хозяйство и жизнь по старому образцу. Так не пойдет. Как тяжело сейчас здесь, у нас. Да! Уже с пятницы, 6/VI, Латвия (Латвия немецких юнкеров) находится в состоянии войны с Эстонией! Больше безумие трудно вообразить. Дело вот в чем: в Северной Латвии стоят эстонские и латышские белые войска, которые нападают с севера на красных; их прогнали из Валки, Валмиеры и Цесиса. Эти латыши — армия сторонников правительства Улманиса. Ригу заняли немецкие авантюристы, которые захватили власть в свои руки и свергли правительство Улманиса. Теперь они объявили эстонцам ультиматум, требуя покинуть пределы Латвии.

Понедельник, 16.VI.1919

Все, все я могла бы перенести, но когда я вижу, что мои духовные возможности, мое рабочее вдохновение рассеялись по ветру, что я уже не могу творить, — я прихожу в отчаяние. Где она, моя начатая работа, где планы, проекты! Все стоит на месте, и душа оцепенела. Я всегда страдала от недостатка физических сил, всегда чувствовала себя утомленной; но все же бывали периоды, когда я могла махнуть рукой на обыденщину и жить своим счастьем — ду-

ховной, творческой работой. Да, это мое единственное счастье! Может быть, такой период когда-нибудь повторится в моей жизни. И хотя бы ради этого стоит жить надеждой.

Четверг, 19.VI.1919

Слышно в окно, как люди выходят толпой из церкви св. Гертруды, женщины и мужчины, солдаты. Там служба: немецкий священник благословляет немецких юнкеров на поход против Эстонии, то есть латышской армии Улманиса. И снова юная поросль латышского народа истекает кровью!

Звучит военная музыка... серые каски в сумеречный вечер строятся, маршируют... Бедные серые каски! За 11 марок в день продавать свою жизнь, воевать за дело немецких баронов! Жаль и этих нищих немцев, у которых вроде как нет отечества после проигранной Германией войны. Задеты жизненные нервы их страны, жизнь застывает, у них дома нет работы, нет хлеба; в чужом краю они за кусок хлеба ставят на кон свою жизнь. Война теперь для многих, для большинства — ремесло.

Из-за новой войны и запрета на вывоз продуктов из Елгвы в Ригу сегодня все цены опять подскочили. Но голод уже начал отступать, это очевидно. Базары опять полны всяких товаров, магазины тоже; хлеб черный по 3 руб. фунт, белый — 6 руб. (американский белый хлеб по карточкам 1 руб. 20 коп. русскими деньгами за фунт), картофель уже по 1 ¹/₂ руб. фунт. При большевиках черный хлеб стоил уже 20 с лишним рублей, картофель 5 руб. фунт, ржаная мука 20—25 руб. фунт. Мы тоже в последнее время покупали по двадцать руб. фунт. А рыбы теперь — полный базар! Едим три раза в день. Уже и лососину ели, копченую (по 14 руб. фунт русскими деньгами). Прямо как сон — после ужасных пяти месяцев голода. Молоко вместо 10 руб. — 3—4 руб. штоф. Мяса завались, всякого. Только, к сожалению, практика у Ф. очень небольшая, так что приходится экономить.

Международное положение в Европе напряженное, как натянутая струна. Послезавтра, 21 июня, немцам последний срок подписать мирный договор. Но так как условия очень суровые, жестокие, они сказали — не подписут, пусть лучше союзники ок-

купают Германию. Союзники настаивают, ибо Германия стократ заслужила суровое обращение: она одна готовилась к мировой войне, спровоцировала ее и единственная была готова; нарушила нейтралитет Бельгии, применила страшные методы (газы, подводную войну, обстрел мирных городов с воздуха и из дальнобойных орудий), сеть шпионажа опутала весь мир перед войной etc., etc. Во Франции, Бельгии экономическая разруха из-за войны, Германия должна их поднять. Затопленные суда обязана вернуть из своих имеющихся и вновь строящихся. Франция получила наконец-то долгожданный реванш за Эльзас-Лотарингию. Все симпатии на стороне союзников. Германия надеется на мировую революцию, но, кажется, напрасно. И французский, и английский народы хотя наконец насладиться своей победой.

Боже мой, что же нас ожидает в ближайшие дни? Какие бури пронесутся над миром?

Янов вечер, понедельник, 23.VI.1919

Радостная весть! Мир подписан в Версале. Маршал Фош приказал немцам очистить прежние границы России и сейчас же оставить Вентспилс и Лиенау. Англичане сообщили газетчикам в Лиенау, что не имеют никакой связи с правительством Ниедры и его не поддерживают.

Да, теперь разговор ясный. Балтийские немцы еще раз основательно провалились, и наши реакционные латыши: Ниедра, Албертс и другие — вместе с ними. Ниедра не учел одного — балтийские немцы рассчитывали, что Германия не подпишет мир, и тогда они пойдут с большевиками России, хотя вся нынешняя афера проходила под флагом борьбы с коммунистами.

Ах, как хорошо делается на сердце, как легко! Все, что угодно, только не под немцами больше. Когда же политическая, хозяйственная власть немцев будет сломлена, Латвия расцветет как по мановению волшебной палочки.

Вечером, в постели

Какое ликование в сердце. Настоящий Янов вечер. Комнаты полнятся ароматом березок — он всегда веселит меня. О Боже, если все это исполнится, что нынче вечером газеты

обещают между строк, — тогда сбываются все самые святые мечты нашего народа: конец немецкому господству в Латвии! Свободная, самостоятельная Латвия! Это больше даже, чем мы когда-либо надеялись. Латвия — государство! Возможно ли это? Не сон ли? Где у нас поэт, который сумел бы описать все наше счастье! И Райнис сможет писать, закончить своего Иманту. Вот был бы роман, если б кто-нибудь сумел описать это последнее переживание нашего народа! Как бы мне этого хотелось! Это ведь третья часть моей трилогии «Янтарная земля», которую я по-прежнему замышляю как «*Vae victis*»¹ немцам. Теперь только я смогу ее писать. Первая часть — идиллическая, героическая Пруссия, с ростками всего прекрасного и возвышенного в сердце народа. Вторая часть — черная тень креста, немецкие рыцари врываются в Латвию, Пруссию, скачут вдоль моря, и их серебристые шлемы блестят на солнце; они поражают древний латышский народ. Третья: час расплаты. Злой бред семи столетий кончается, мир выносит приговор порабощителю — наказание за все, что они сделали латышскому народу. Они уходят! Второй раз прогоняют их латыши от Балтийского моря, и на сей раз, надо надеяться, они уже не вернуться!

Пятница, 27.VI.1919

Вчера Ниедра сбежал из Риги, и эстонцы — латыши (северные) уже оттеснили германский ландесвер и железную дивизию к Югле, мост через нее немцы взорвали. Вчера в Риге была сильная паника среди немецких граждан, уезжали кто только мог — в Елгаву и в *Waterland*². Вчера уехал и президент Ниедра, как говорят, в Лиепаю — опять объединяться с Улманисом! Ну уж обратно сей достославный муж не вернется, а, надо полагать, будет держаться своих союзников — немецких друзей и отправится в Берлин. Сегодня весь день ждем, что войдут в город друзья — эстонцы, но нет, наверно, не войдут, немцы не пустят, здесь легко держать оборону, не то, что в открытом месте, где латыши их выбивают отовсюду.

¹ Горе побежденным (лат.).

² На родину (нем.).

Прошлой ночью в нашем доме была сильная стрельба. Немецкие солдаты взломали двери двух магазинов и хотели ограбить; латыши, населяющие дом, оказали сопротивление, не допустили этого, стреляли в немцев. Тут собралась целая куча немцев и потребовалась, чтоб латыши сдали оружие, но те только посмеивались. Немцы тогда стали бросать ручные гранаты в двери, латыши тоже бросали из окон гранаты и стреляли из винтовок; изрешетили тротуар. Как сообщают газеты, погибли четыре немецких солдата. Мы все сбежали в коридор, соседи тоже, и ждали, что будет.

Прошлой ночью во многих местах немцы грабили. Между прочим, ограблен часовой магазин Валдманиса на Марининской улице. Есть и убийства. Эти немецкие прихвостни — настоящие разбойники, больше ничего. Под Цесисом они не пошли в бой, только ландесвер, и эстонцы — латыши его наголову разбили. Хотя бы уж скорее приехал Улманис, его ждут, как мессию; вокруг его имени складываются легенды. Ниедру весь народ проклиняет.

Мир в Версале подписан вчера около полудня. Но в Европе мира не чувствуется. Слишком эта война сотрясла все основы. Все ждут сотворения нового мира, со старым не хотят мириться.

Я радуюсь вместе с милой Францией в день ее великой победы. 49 лет Клемансо ждал этого дня! И вот Франция пьет бокал реванша. Париж и Версаль ликуют, как 45 лет назад ликовал Берлин. Но Германия снова растит в себе ту же идею реванша. И не может быть примирения между Францией и Германией, особенно после этой войны, когда Германия обнажила свое сердце — свою бесчеловечность, беспосадность. Также не может быть согласия между Латвией и немцами Латвии.

Суббота, 28.VI.1919

Полные тревог дни опять переживает Рига. На сей раз немцы в панике удирают в Курземе; в Елгаве переполнены гостиницы, в частных квартирах тоже теснятся беженцы, многие уже второй день живут под открытым небом у костров. Совесть у них нечиста — не то что у подлинного ла-

тышского правительства. И такое только что сформировалось в городе: как сообщают русские газеты, латыши взяли в свои руки городское самоуправление. Ландесвер передает верховную власть в руки полковника Балодиса, охрану города от грабежей немецких солдат берут на себя латыши, о которых еврейское «Русское слово» поет ангельским голосом, что латышское войско проявило «*videržku i disciplinu, dostojnuju vsjაკого uvaženija*», на него-то и можно сейчас положиться! Еще вчера и все время та же газета старалась уязвить латышей, как только могла, всячески охаивала за коммунистов, «единственных виновников» беспорядков в России (даже сегодня еще она говорит, что латышские стрелки-больше-

вики единственные поддерживают в Киеве борьбу против наступающих украинцев и поляков).

Немецкая «*Rigasche Zeitung*» сегодня откровенно заявляет: «*Nur der Anschluss zu Rußland kann dem Land die innere nationale Stabilität geben*»¹. Теперь они все в один голос кричат — назад к России! — когда на Германию уже не понадеешься.

Газеты сообщают, что весь кабинет Ниедры уже оставил город.

(Окончание следует)

¹ Только присоединение к России может дать стране внутреннюю национальную стабильность (нем.).

К нашим иллюстрациям

Выдающийся латышский график Сигисмундс Видбергс родился в 1890 году в латвийском городе Елгаве, умер в 1970-м в США. Географическая кривая, соединяющая место его рождения с местом смерти, является весьма традиционной «кардиограммой» судьбы для латышей. Немалая причина тому — события, воспроизведенные в циклах «Страшный год», «Дорога скорби» и «Беженцы», часть работ из которых мы представляем читателям «Даугавы» в этом номере.

С. Видбергс изучал [1908—1915] роспись по стеклу в Художественном училище Штиглица в Петербурге. Увлёкся графикой — восточным и греческим рисунком, но — особенно — работами англичанина О. Бёрдсли и русского графика С. Чехонина. Участвовал в выставках, его работы появлялись в журналах. После 1917 года сотрудничал с изданиями пролеткультовцев, изображал события тех лет, победителей и их вождя. В 1921 году, после возвращения в Латвию, состоялась его первая персональная выставка. Наряду с Р. Сутой, А. Бельцовой был художественным вдохновителем мастерской «Балтарс» [1924—1928], где создал около 300 декоративных тарелок, ваз и сервизов, получивших признание в Осло, Нью-Йорке, Париже. Был членом Рижского общества графиков, руководил студией рисования и живописи. Но, отмечая его столетие, прежде всего следует говорить о нем как о самобытном творце.

Названия циклов дают ясное представление о содержании работ С. Видбергса — «Бермонтада», «Пейзажи», «Меллужи», «Балет», «Город», «Эротика»... Он не был таким «сумасшедшим», как Бёрдсли, и таким изысканным орнаменталистом, как Чехонин. Мастер линии, виртуоз рисунка тушью, он подчинил свои работы некоей повествовательной упорядоченности, «оттеснял» чувства духом и опытом, что приводило рисунок к гармонии, лаконичному, но очень выразительному стилю. Чувствуется, что семья его отца — елгавского бухгалтера — недаром почитала театр и музыку. Эстетические принципы этих искусств своеобразно трансформировались в произведениях художника: декоративность, четкое строение работ, подчеркнутый эстетизм. При этом сущность отображаемого передана не на уровне истерики, наигранной внешней жестикюляции, а как естественное состояние, гармония среды или духовное переживание.



ДЕКАБРЬ

...

Ольга КОРЕНЕВСКАЯ родилась в г. Усолье-Сибирское. Училась в музыкальной школе; окончила художественную школу, архитектурный факультет Ростовского-на-Дону инженерно-строительного института. Работала по специальности в г. Сочи. С 1986 года живет и работает в Риге.

Публиковала стихи в сборниках «День поэзии» (1987, в переводе на латышский язык), «Голоса» (1989), альманахе «Светоч» (1989).

Выступала с исполнением песен на свои стихи и стихи других авторов перед аудиторией Латвии и России.

При елке, в глубине квартиры,
И при огне одной свечи,
Что на страницу мне светила
И будоражила в ночи,
Я вспоминала и читала
Про белый снег и голос той,
Которая добро считала
За суть свою и долг святой.
И этот снег, как свежесть, в сердце
Вошел сюда среди зимних дней.
Открылась скрипнувшая дверца
Дремавшей памяти моей:
Снежинка нежная прохлада,
К беседке старой поворот,
Калитки мимо, мимо сада
Печаль и грусть меня ведет.
И будет все таким, как прежде.
И колокольчик зазвонит,
И на диване, весь разнежась,
Зевая, пышный кот лежит.
Вода колодезная. Лыдинки
Растают от тепла печи.
Быть может, в этом поединке
Взаимодействие причин.
Мы взрослые. Нам все подвластно.
Но дети говорят подчас:
«Они так думают напрасно,
Они ничуть не старше нас».
Теперь, я чувствую, не стоит
Разуверять себя. Его.
Пусть будет память. Будет море.
И я. И больше ничего.
Свеча витая в полумраке.
Рояль. . . Я пыль с него сотру.
Ведь завтра будет все иначе —
Придет настройщик поутру.

* * *

Белая ночь. . . Был ли закат?
Трудно ответить...
В сумерках лишь фары машин
выспренно светят.
Сон фонарей — медленный сон.
Им до рассвета
Не нарушать светлый покой
нового лета.
В зарослях ив, жгучих крапив,
возле развалин
Кто-то бродил, ключ обронил,
сердце оставил...

* * *

На теплых валунах у Финского залива
Мы тихо слушали с тобой весну.
Искрился Петергоф, и вздрагивал пугливо
В руке цветок, струя голубизну.

Был тяжек груз, но легок был подарок,
Запечатлевший этот сонный день:
Деревьев сень, души моей огарок
И трясогузки розовую тень.

* * *

Над Казанским парит голубица.
На Дворцовой главенствует столп.
Блекнет Адмиралтейская спица
Над избытком нахлынувших толп.
Мне не верится, было ль такое:
Позолоченный Спас на Крови
Отражался в зеркальном покое
Непредвиденной нашей любви.
Я на Невский и в солнце, и в слякоть
Прихожу в неизбывной тоске.
Мне и нынче так хочется плакать —
Так свежа седина на виске.

* * *

Декабрь, ты устал, ты стар,
Ты безвозвратно сед.
Ты — как последний мудрый дар
Всех уходящих лет.

Я вижу хрупкий контур рук.
Сухих ладоней взлет.
К кому обращены они,
Никто не разберет.

Эдуард УЛЕМАЕВ родился в 1949 году. Окончил Ростовский инженерно-строительный институт. По специальности архитектор; увлекается графикой. Первый рассказ опубликовал в 1985 году в «Литературной газете» (с.16).

Живет в Ростове-на-Дону.



ТРИ РАССКАЗА

ЦЕЛЬ

Я иду. Босиком или в кирзовых сапогах, не имеет значения; как обули, так и обули.

Мне довольно долго удавался самообман; будто я не пойду в этом направлении, тем более не приближусь к цели.

Что удерживало меня все годы? Надежда? Буду откровенен — явная ложь.

Чувствуешь? Труднее становится дышать. Здесь, двойник, нам необходимо расстаться, хотя едва ли мы успели как следует узнать друг друга. Тебе не стоит идти дальше. Цель, словно черная дыра, я ощущаю ее власть, и хотя, казалось бы, я двигаюсь по прямой, на самом деле мой путь даже не окружность,

а скручивающаяся спираль. И какое бы ускорение я ни развил, мне не вырваться. Прощай!

Все возрастает плотность страха. Темнеет, как в последний раз.

Вот и начались приметы:

Смоковница без листьев на выжженном склоне холма и слева — разрушенный сарай, где я прятался в детских мечтах от болей и обид.

Время остановилось. И пошло
вспять.

Несколько шагов, и я у цели.

Вот она, та точка,
Которая на всех картах,
Даже контурных,
Обозначена
Крестом.

ПАСТУХ НА ГРАНИЦЕ

Мы сидели в засаде.

Он возвращался.

Он шел по открытому полю позади стада овец. Их овец.

На нем ладно сидела теплая безрукавка, отороченная козым мехом, светлые портки. Их портки.

За прошедшие годы лицо его истончилось и как бы светилось изнутри. Такого лица не встретишь у наших академиков в наших журналах. А он был простой пастух.

Он шел и светился изнутри, слов-

но в нем горел ровный огонек.

Нет, он не улыбался блаженно при виде Родины. (Для овец тянулась та же степь, в которой они паслись всю свою овечью жизнь. Стадо как раз пересекало границу.)

Но не чувствовалось в нем и настороженности, готовности защищаться. Он возвращался. Сейчас многие возвращаются.

Что он нес с собой? Нечто чуждое нам? Или наше, некогда утраченное, теперь почти мумифицированное, в

чем странным образом еще теплится бережно поддерживаемая столько лет музейная жизнь?

Мы сидели в засаде, пальцы на курках, и хорошо его рассмотрели, глядя почти в упор. Я уверен, он не питал иллюзий.

Даже светлые волосы, которые

рассыпались со лба при каждом шаге, и те стали иными.

Их овцы пересекли границу. Вот и он приблизился к рубежу и сделал последний шаг по их земле.

Грянул выстрел.

И наши овцы побрели по нашей степи.

СЕКРЕТНЫЙ ЗАВОД

Каждое утро я иду на работу. Кроме выходных, конечно. Но и в дни отдыха мне, как и всем остальным, не дает покоя одна общая забота — секрет. Завод-то у нас секретный. На проходной строгий контроль, система пропусков. Редкая птица пролетит незамеченной.

Конечно, все жители города слышали о нашем предприятии, хотя никто не догадывается, что оно выпускает. Да и мы, рабочие, не знаем. И администрация. И даже сам директор.

Сотни составов ежедневно подвозят сырье и топливо, станки и машины. Импортное дорогостоящее оборудование непрерывным потоком поступает со всех концов планеты.

Завод — единое целое. В нем нет строгого разделения на цеха. Корпуса соединены сложной системой трубопроводов, рычагов. Чем дальше вглубь, тем корпуса выше, трубопроводы шире, рычаги мощнее. В самом центре висит гигантское, несоизмеримое ни с какими человеческими масштабами здание. Там я и работаю.

Когда идешь по территории, грохот усиливается, жарче становится воздух, все труднее дышать от вырывающихся струй пара, язг сливается в сплошной стон мучимого металла. Наконец стены главного корпуса. Скорее в дверь и... о блаженство, о

счастье, о отдохновение, тишина и покой.

Сажусь в лифт и поднимаюсь высоко над землей, где-то на уровень двухтысячного этажа. Здесь мое рабочее место. Именно здесь заканчивается наковальня и начинается молот. Насколько далеко он простирается, я не знаю. Да мне и незачем. Моя задача в другом. Как только молот приподнимется хоть на миллиметр, успеть увидеть, что же там лежит на наковальне? Что хотели выковать наши великие предки?

Если честно, то я знаю. Когда-то в дни моей юности предельным напряжением сил всей страны молот приподнялся и тут же рухнул вниз. В округе за сотни километров с деревьев посыпались листья, упали бездыханно воробьиные стаи, реки повернули вспять, а приливы по всей земле сменились отливами.

И все же выстояли крепкие стены, выдержали перегородки моей кабины из чудных сплавов. И я успел увидеть.

Но я молчу. Так, только иногда, в компании, как бы в шутку, скажу правду. И тогда даже лучшие друзья и родственники становятся серьезными, настороженно оглядываются и переводят разговор на другую тему.

Хотите и вам скажу? Слушайте! Я видел, я знаю. Там ничего нет.

УТОПИЯ У ВЛАСТИ

ОСЕНЬ 1917-го

Свержение царского самодержавия если и изменило положение в стране, то — к худшему. Экономика страны разваливалась: останавливались заводы, подвоз продовольствия не переставал сокращаться, стоимость денег падала. Война продолжалась. Единственным реальным завоеванием революции была полная свобода слова. Опьяняющая эта свобода превращается в могучее оружие большевиков. В то время, как они обещают всё и немедленно (мир, землю, хлеб), все другие партии призывают ждать (победы, Учредительного собрания, прекращения хаоса). В ночь с 1 на 2 сентября большевики получают большинство в Петроградском Совете. Троцкий избирается председателем Совета. Вернувшийся в мае 1917 года из США Троцкий сразу же поддерживает Ленина. В июле он вступает в партию большевиков, где немедленно занимает место среди вождей. Арестованный после июльских событий, освобожденный из «Крестов» под

залог после краха корниловского выступления Троцкий становится, в качестве председателя Петроградского Совета, не только первым тенором революции (его речи набивают битком цирк Медрано), но и практическим руководителем готовящегося переворота. 5 сентября большевики получают большинство в Московском Совете. Для Ленина это — сигнал; он убежден: власть на расстоянии протянутой руки — сейчас или никогда. В середине сентября Ленин шлет из своего финляндского убежища два письма, в которых настаивает на необходимости брать власть. Брать власть немедленно. Но ЦК заставляет себя просить. Руководители партии — Каменев, Зиновьев, Сталин — занимают гораздо более умеренную позицию, чем Ленин. Они убеждены, что Всероссийский съезд Советов, назначенный на 25 октября, передаст большевикам власть мирным путем. Ленин не выдерживает и возвращается в Петроград. Партийные историки до сих пор не могут прийти к соглашению, когда вождь партии вернулся из Финляндии. В

ОБ АВТОРАХ

Михаил Геллер родился в 1922 году. Историк по образованию. С 1969 года живет в Париже, преподает в Сорбонне. Доктор исторических наук. Автор книг: «Концентрационный мир и советская литература» (Лондон, Овэрси пабликэйшнс, 1974), «Андрей Платонов в поисках счастья» (Париж, ИМКА Пресс, 1982).

Александр Некрич родился в 1920 году. Историк по образованию, доктор исторических наук. С 1950 по 1976 г. старший научный сотрудник Института истории Академии наук СССР. В 1976 г. эмигрировал в США. С этого времени научный сотрудник Русского исследовательского центра Гарвардского

сталинском «Кратком курсе» говорится, что Ленин вернулся 7 октября, Маргарита Фофанова, в квартире которой Ленин поселился, приехав в Петроград, утверждала, что он вернулся 22 сентября. Во всяком случае известно, что вернувшийся между 22 сентября и 7 октября в Петроград Ленин участвовал в заседании ЦК 10 октября. Кроме Ленина присутствовали А. Бубнов, Ф. Дзержинский, Г. Зиновьев, Л. Каменев, А. Коллонтай, А. Ломов, Г. Сокольников, Я. Свердлов, И. Сталин, Л. Троцкий, М. Урицкий. Ленину стоит немало труда убедить своих соратников в необходимости организации восстания. Но у него есть козырь: еще 29 сентября Ленин послал письмо-ультиматум, в котором угрожал уйти из ЦК, оставив за собой «свободу агитации в низах партии и на съезде партии». Вождь партии угрожал, что обратится к «низам» и разгонит ЦК. Н. Бухарин вспоминал в 1921 году, еще при жизни Ленина, что «письмо было составлено чрезвычайно решительно и угрожало нам всякого рода штрафами. Мы все были ошарашены... ЦК единогласно постановил сжечь письмо Ленина». Письмо можно было сжечь. Но когда сам Ленин потребовал голосовать за восстание, только два члена ЦК нашли в себе решимость голосовать против — Зиновьев и Каменев.

Аргументы Ленина сводились к пяти пунктам: 1) во всей Европе нарастает революционное движение; 2) империалисты (немцы и союзники) готовы заключить мир, чтобы совместно удуть революцию в России; 3) налицо «несомненное решение Керенского и компании сдать Питер немцам»; 4) близится крестьянское восстание, и большевики уже обладают народным доверием; 5) идет

«явное подготовление второй корниловщины». Зиновьев возражал: «Говорят: 1) за нас уже большинство народа в России и 2) за нас большинство международного пролетариата. Увы! — ни то, ни другое неверно, и в этом все дело».

Дело, однако, было не в этом. Все аргументы Ленина оказались неверными: он ошибся в расчетах на мировую революцию; еще год будут воевать немцы и союзники; Керенский не собирался сдавать Питера; крестьяне начали делить землю, но до восстания было еще далеко; ни о какой «второй корниловщине» никто не помышлял. Прав был он лишь в одном: власть можно было захватить, ибо никто не хотел ее защищать. Керенский и его министры продолжали верить, что враг — только справа, и, естественно, не могли ждать поддержки со стороны «правых». Слабость и нерешительность Временного правительства раздражали «умеренных» и «центр». Н. Бухарин с гордостью вспоминал: «У меня на квартире было написано: «Бухарин, большевик». Но никто пальца не решался поднять. Конечно, это было величайшей глупостью со стороны буржуазии, что она тогда с нами не покончила». Говоря о глупости, Бухарин был, конечно, прав, с той лишь поправкой, что власть осенью 1917 года не была в руках буржуазии. Власть лежала на улице. За исключением большевиков, все хотели изменений, все были согласны: пусть хуже, но иначе. Член французской военной миссии Пьер Паскаль записывал в свой дневник в сентябре: «Пажеский корпус голосовал за большевиков», в октябре: «Вчера г-н Путилов мне сказал, что он голосовал за большевиков»².

Наиболее серьезное сопротивление

университета, преподает также в университетах США и Европы. А Некрич — автор многочисленных работ по истории Великобритании, СССР, международных отношений и второй мировой войны, в том числе

«Внешняя политика Англии 1939—1941», Москва, изд-во АН СССР, 1964, «1941, 22 июня», Москва, изд-во «Наука», 1965, «Наказанные народы», Нью-Йорк, Хроника-Пресс, 1978, «Отрешись от страха Воспоминания историка», Лондон, Оверсик публикэйшнс, 1979

А. Некрич принимал участие в издании «Всемирной истории», «Большой Советской Энциклопедии», «Дипломатического словаря», «Истории внешней политики СССР» в качестве автора и редактора

Предлагаем фрагмент из книги «Утопия у власти», являющейся своего рода «полным курсом» истории ВКП(б), советской истории

ние Ленин встречает в ЦК партии: соратники опасаются неудачи, они спрашивают, что мы будем делать после захвата власти. Ленин отвечает: захват власти — цель восстания. Политические задачи мы выясним, когда власть будет в наших руках. Ленин охотно цитирует Наполеона: «On s'engage et puis on voit» — вступим в бой, а потом... посмотрим.

Упорно культивируемая советской историографией легенда об Октябрьском перевороте как операции, осуществленной по точному, строго разработанному плану, об Октябрьском перевороте как высшем образце «искусства восстания» отказывается считаться с фактами. Меняются — в легенде — вожди восстания: то это были Ленин и Троцкий. Сталин в первую годовщину революции назвал «ЦК партии во главе с т. Лениным» — вдохновителем переворота, подчеркнув, что «вся работа по практической организации восстания проходила под непосредственным руководством председателя Петроградского Совета Троцкого». Сам Троцкий немало способствовал распространению легенды о великопленной организации восстания и своем руководстве. Затем вождем восстания Сталин определил себя, признавая, что некоторую помощь ему оказывал Ленин. С середины 50-х годов вождем утверждён Ленин.

Легенда вызвала сомнения издавна. «Если для постороннего нашему движению кажется, что Октябрьская революция, или, как у нас нередко принято называть, Октябрьский переворот, была совершена так, как совершались все ранее бывшие «перевороты», почти без предварительной тщательной организации, а лишь в силу случайного благополучно сложившихся обстоятельств, то это глубоко неверно», — спорил Бонч-Бруевич. Сомнения в легенде как нельзя более обоснованны. Достаточно сказать, что советские историки до сегодняшнего дня не достигли договоренности о дате переворота, о том, когда же началась Октябрьская революция. Одни полагают, что утром 24 октября, другие настаивают на вечере того же дня, третьи защищают 22 октября.

10 октября двенадцать заgrimированных членов ЦК решают начать восстание. Но на следующем за-

седании ЦК — 16 октября — все настаивают на необходимости ждать, ибо докладчики от районов говорят об отсутствии «боевого духа» на Выборгской стороне, на Васильевском острове, в Нарвском районе. Представитель Военной организации Крылонко докладывает об индифферентности солдат. И только Ленин продолжает настаивать, уговаривать, тянуть членов ЦК к власти.

Троцкий двоится и троиится, выступая на многочисленных митингах, подогревая революционными лозунгами солдат и рабочих. Не перестают произносить речи популярнейшие ораторы большевиков — Луначарский, Коллонтай, Володарский. Члены ЦК ждут, что власть сама упадет им в руки. Ленин настаивает на ее захвате. Не позже 20 октября.

Власть разваливается. Петроградский гарнизон хочет лишь одного: разойтись по домам и принять участие в разделе земли. Правительство не знает, чего оно хочет. Не знает, какими силами оно располагает. И главное — не знает, кто его враг. Слухи о готовящемся большевиками заговоре не перестают циркулировать по Петрограду. Они набирают силу в октябре. 17 октября горьковская газета «Новая жизнь», расхваливая десяти тысячным тиражом среди столичных рабочих и очень близкая к большевикам³, публикует передовую, в которой предупреждает, что если партия большевиков готовит переворот, то это приведет к гибели партии, рабочего класса и революции. 18 октября в «Новой жизни» появляется знаменитое письмо Каменева и Зиновьева, в котором ближайшие соратники Ленина заявляют, что вооруженное восстание независимо от съезда Советов и за несколько дней до его созыва является недопустимым шагом, грозящим катастрофой пролетариату и революции. Хорошо известно негодование, с каким встретил это письмо Ленин, обозвавший своих товарищей изменниками, предателями и т. п., раскрывшими буржуазии тайну восстания. В действительности тайны никакой давно уже не было. Раскрыл ее прежде всего сам Ленин в своих письмах, статьях, воззваниях, печатавшихся в большевистской печати.

Характернейшей чертой времени,

красноречивым признаком полного разложения правительственного аппарата было не то, что вопрос о вооруженном восстании открыто дебатировался в легальной печати, а то, что власть не придавала этому никакого значения. Керенский заявлял: у нас больше силы, чем нам нужно. Он отказывался затребовать в Петроград подкреплений с фронта. Когда городской чиновник из любопытства позвонил на квартиру Марии Ульяновой и узнал, что Ленин в Петрограде, никто не попытался арестовать руководителя готовящегося переворота.

Настроение власти в октябре 1917 года с отчаянной откровенностью выразил министр иностранных дел Терещенко в беседе с американским послом Дэвидом Френсисом. Беседа происходила 24 октября. «Я ожидаю большевистское выступление сегодня ночью, — сообщил Терещенко. — Если вы сможете сго подавить, — ответил посол, — то я надеюсь, что оно произойдет. — Я думаю, что мы сможем его подавить, — сказал Терещенко, — но я надеюсь, что оно произойдет независимо от того, подавим мы его или нет. Я устал от неуверенности и напряжения».

Несмотря на отсутствие уверенности в успехе, большевики, как бы увлекаемые инерцией разваливающегося государственного аппарата, шли к власти, хотя и не так быстро, как этого желал Ленин. Военно-революционный комитет, созданный Петроградским Советом, становится главным руководящим органом восстания. Захват власти производится, таким образом, не от имени партии большевиков, а якобы от имени Совета, несмотря на то, что в Бюро ВРК входят только большевики и поддерживающие их левые эсеры. Фактически власть переходит в руки Бюро ВРК 21 октября, когда принимается приказ о том, что оружие не выдается никому без приказа ВРК и в воинские части посылаются комиссары для контролирования приказа. Утром 22 октября гарнизон по телефону извещается об этом решении, в котором указывается также, что никакие приказы не являются действительными без подписи ВРК. В городе организуются митинги и демонстрации. Троцкий выступает с пламенной речью в Народном доме

на Петроградской стороне, обещая золотые горы: советское правительство даст беднякам и тем, кто находится в окопах, всё, чем богата страна. Он вызвал бурные аплодисменты, восхваляя Петроградский Совет, взявший на себя тяжелую задачу доведения революции до победного конца, революции, которая даст народу хлеб, землю и мир.

Революция уже произошла, но никто этого пока не видит. Не видят жители Петрограда, заполняющие театры: Шаляпин поет в «Доне Карлосе», в роли, в которой он редко выступал в России, Тамара Карсавина впервые танцует в оперетте «Куколка». Привлекают многочисленных слушателей всевозможные лекции: философские, литературные, социально-политические. Не видят, что власть уже выскользнула у них из рук, члены Временного правительства. Не отдают себе отчета, что власть уже у них в руках, большевики.

Одна из неразрешенных загадок Октябрьского переворота — поведение Ленина в решающие дни. С 20 октября он как бы исчезает из обращения: продолжает прятаться, но до вечера 24-го о нем нет никаких сведений, нет его писем, записок, указаний. Прославленное заседание ЦК 21 октября, на котором Ленин произносит свои знаменитые слова: «вчера было рано, а послезавтра будет поздно» — легенда, сочиненная Джоном Ридом и не подтверждаемая ни одним документом, ни одним свидетелем. Впрочем, легенда показала вождю революции настолько хорошо придуманной, что он, расхваливая книгу Джона Рида, ее не опроверг.

Ленин продолжает находиться в подполье весь день 24 октября, когда ВРК начал рассылать своих комиссаров и небольшие вооруженные отряды для захвата правительственных зданий. Два невооруженных комиссара приходят на Центральный телеграф и договариваются, что телеграф будет считаться под большевистским контролем. Отряд Измайловского полка является на Балтийский вокзал и остается там для «охраны порядка». Отряды Красной гвардии занимают некоторые мосты, оставляя другие в руках правительственных войск, если те не соглашаются уходить. Никто не хочет стрелять, но поспешно,

получим путем в городе меняется власть. И в это время, около 6 часов вечера 24 октября, Ленин все еще ни о чем не подозревает. Он пишет письмо: положение крайне критическое, промедление смерти подобно, мы не имеем права ждать, мы можем все потерять, необходимо во что бы то ни стало нанести смертельный удар правительству... В 4-м и 5-м изданиях Сочинений Ленина письмо это озаглавлено: письмо членам Центрального Комитета. В действительности заголовок этот был добавлен советскими историками, а письмо адресовано в райкомы: через них хотел Ленин давить на ЦК. Вождь революции еще вечером 24 октября, вдали от Смольного, не переставал бояться Временного правительства, уже не имевшего власти, не переставал понукать ЦК начать восстание, которое фактически уже закончилось.

Загадка отсутствия Ленина среди руководителей переворота с 20 по 24 октября усугубляется загадкой поведения руководителей восстания, не приглашающих весь день 24 октября Ленина в Смольный, и поведения Ленина — ждущего приглашения. 6 ноября 1918 года в юбилейной статье Сталин писал: «24 октября, вечером он (то есть Ленин) был вызван в Смольный для общего руководства движением». К тому времени, однако, когда ЦК счел возможным вызвать вождя «для общего руководства», Ленин не выдержал и сам отправился — на трамвае — с Выборгской стороны в Смольный.

Троцкий утверждает в своей «Истории русской революции», что Ленин, прибыв в Смольный, одобрил действия председателя Петроградского Совета: «Ленин был в восторге, выражавшемся в восклицаниях, смехе, потирании рук, потом он стал молчаливее, подумал и сказал: „Что ж, можно и так, лишь бы взять власть“». Н. Подвойский, вместе с В. Антоновым-Овсеенко и Г. Чудновским, непосредственно руководивший захватом города, вспоминает, что, прибыв в Смольный, Ленин начал забрасывать его записочками: взяты ли Центральный телеграф, телефон, взяты ли мосты? Поторавливание Ленина оказывает небольшое влияние на ход событий: город медленно, но не-

уклонно переходит в руки восстановивших, не встречающих сопротивления. Борьба за город (еще никто не знает, что это борьба за страну) происходит между 6—7 тысячами сторонников большевиков: 2500 солдат — павловцев и кексгольмцев, 2500 кронштадтских моряков и около 2000 красногвардейцев — и 1,5—2 тысячами защитников Временного правительства. Огромный петроградский гарнизон объявил себя нейтральным и не вмешивался. В 3.30 утра «Аврора» бросила якорь у Николаевского моста, и отряд моряков, прогнав патруль Временного правительства, занял мост. Зимний дворец, в котором заседало Временное правительство, оказался изолированным от города.

Утром министры еще не знали о том, что они потеряли власть. Они не могли узнать об этом из газет, которые вышли с безнадежно запоздавшими статьями: «Известия» предупреждали большевиков не ввязываться в «бессмысленную авантюру»; «Новая жизнь» советовала большевикам «не стрелять первыми»; меньшевистская «Рабочая газета» выражала надежду на возможность компромисса.

Ленин к этому времени знал, что победил. В 10 утра он обращается «к гражданам России», извещая их: «Временное правительство низложено. Дело, за которое боролся народ, — немедленное предложение демократического мира, отмена помещичьей собственности на землю, рабочий контроль над производством, создание советского правительства, — это дело обеспечено». Ленин знал, что власть, за которую он так долго боролся, у него в руках. Троцкий вспоминает, как, написав воззвание, Ленин обернулся «с усталой улыбкой и сказал: переход от подполья и режима Переверзева⁴ к власти... Es Schwindelt». Ленин поднял руку, чтобы показать, как кружится у него голова от доставшейся наконец власти. Еще не был, правда, взят Зимний дворец, но вождь революции обязательно хотел объявить о победе на первом заседании съезда Советов. И Ленин шлет снова записки членам ВРК, требуя немедленного штурма. Но тон уже меняется. В случае невыполнения приказа Ленин грозит членам ВРК —

расстрелом. Начинается новая эра. Угроза расстрела, а потом и расстрелы станут важнейшим элементом политики.

Взятие Зимнего задерживается: у красногвардейцев и солдат, составляющих армию восставших, нет особого желания штурмовать дворец, гем более, что число его защитников гает с каждым часом. Восставшие по одному, по два проникают в Зимний дворец через незащищенный «черный ход». «Аврора» холостым выстрелом дает сигнал Петропавловской крепости открыть артиллерийский огонь по Зимнему: выпустив около 30 снарядов, артиллеристы ухитряются попасть в цель всего два или три раза. Защитники Временного правительства вначале брали проникавших во дворец красногвардейцев в плен. Когда пленных набралось много, они в свою очередь взяли в плен и разоружили юнкеров. Ворвавшийся во дворец Антонов-Овсенко арестовал членов Временного правительства и отправил телеграмму Ленину: в 2.04 дня Зимний взят.

Съезд Советов, который после ухода правых эсеров и меньшевиков, отказавшихся признать большевистский переворот, состоит из большевиков и левых эсеров, утверждает «временное рабочее и крестьянское правительство» — Совет Народных Комиссаров. Оно должно управлять страной «впредь до созыва Учредительного собрания». В состав правительства входят только большевики. Председателем СНК утверждается Ленин, наркоминделом — Троцкий, внутренние дела поручаются Рыкову, земледелие — Милютину, юстиция — Ломову, торговля и промышленность — Ногину, труд — Шляпникову, продовольствие — Теодоровичу, просвещение — Луначарскому, национальности — Сталину.

Октябрьский переворот был завершен. «Революция, — писал Ленин об Октябре, — в известных случаях означает собою чудо... Вышло чудо...» Дважды на протяжении 1917 года власть в России, пораженная бессилием, падала от толчка. Как в феврале, так и в октябре, в кригический момент правительство обнаруживало, что не имеет никакой поддержки, не имеет защитников. Разница между двумя революциями заключается в том, что в феврале

царская власть была сметена стихийным взрывом недовольства, а в октябре Временное правительство было свергнуто партией, возглавляемой человеком, знавшим, чего он хочет, непоколебимо убежденным, что он воплощает законы истории, верившим, что он единственный понимает, что надо делать и куда идти, ибо он единственный полностью овладел учением Маркса—Энгельса.

Ленин достигает цели: партия большевиков приходит на съезд Советов, захватив власть. На пути к этой цели вождю партии пришлось преодолеть сопротивление своих соратников, которое было гораздо более серьезным, чем сопротивление Временного правительства. Противники Временного правительства «справа» — генералитет и офицерство — были убеждены, что если большевики и придут к власти, то удержатся не более нескольких недель, но по дороге к власти опрокинут Керенского. Глава Временного правительства говорил впоследствии о свержении его «руками большевиков».

Ленин достигает цели. На первом заседании съезда Советов принимаются, по его предложению, два декрета: о мире и о земле. В первый и последний раз вождь партии большевиков держит слово: дает стране мир и землю. Очень скоро начнется новая война — гражданская, которая будет продолжаться еще три с лишним года; земля окажется мифом, ибо станет ясно, что было ее у помещиков меньше, чем ожидалось; выяснится, что все выращенное на земле потребует государство. Но 25 октября Ленин зачитывает Декрет о мире, приглашающий все народы и правительства воюющих стран заключить демократический мир без аннексий и контрибуций, а для переговоров о мире предлагающий немедленно заключить перемирие на 3 месяца; он зачитывает Декрет о земле, объявляющий: «Земля без всякого (явного или скрытого) выкупа отныне переходит в пользование всего трудового народа».

Н. Крупская вспоминает, что Ленин взял Декрет о земле из левоэсеровских «Крестьянских известий». Вождь Октябрьской революции никогда не скрывал, что он позаимствовал Декрет о земле у эсеров. Еще в августе он писал, что крестьяне хотят сохра-

нить свою мелкую собственность... Ни один благоразумный социалист не порвет из-за этого с беднейшим крестьянством. Добавляя: а после перехода политической власти к пролетариату дальнейшее покажет практика. Ленин мог спокойно выслушать то, что кричали на съезде разгневанные «дневным грабежом», кражей их программы эсеры: «Хорош марксист, травивший нас 15 лет за нашу мелкобуржуазность и ненаучность с высоты своего величия и осуществивший нашу программу, едва захватив власть». Он мог спокойно ответить им: «Хороша партия, которую надо было прогнать от власти, чтобы осуществить ее программу». Ленин был спокоен, ибо он единственный понимал: без поддержки крестьянства власть в России удержать нельзя. И он единственный знал, что, имея власть, можно легко отобрать назад и все данное, и все обещанное.

Вялые, некоординированные попытки оказать сопротивление новой власти закончились полной неудачей в первую неделю после Октябрьского переворота. Керенский, покинувший утром 25 октября Зимний дворец, отправился за помощью в Псков, в ставку Северного фронта. Защищать Временное правительство соглашается лишь генерал Краснов, командир Третьего конного корпуса, того самого, который в августе, под командованием генерала Крымова, шел на Петроград, чтобы свергнуть правительство Керенского. Краснову удастся собрать не более 700 всадников, «меньше полка нормального штата». Но и этими силами ему удастся занять Гатчину, потом Царское Село. 30 октября под Пулковскими высотами отряды Красной гвардии, усиленные моряками, останавливают продвижение казаков. Троцкий вспоминал, что красногвардейцы были обязаны победой полковнику Вальдену. Полковник согласился командовать красногвардейцами «не потому, что он симпатизировал нам... По-видимому, он ненавидел Керенского так сильно, что эта ненависть породила в нем некоторую симпатию к нам». Краснов приказал отходить в Гатчину. Там он был арестован; Керенский успел скрыться, завершив тем самым свое краткое пребывание в русской истории.

В то время, когда генерал Краснов в странном союзе с социалистом Керенским ведет несколько сот казаков на Петроград, командующий Северным фронтом генерал Черемисов полагает, что главную опасность для страны представляют «берлинские немцы», против которых нужно держать фронт, большевики же, то есть «петроградские немцы», и так власть не удержат. В это самое время в столице представители «революционной демократии» — меньшевики и правые эсеры — образуют Союз спасения родины и революции. Но их борьба с большевиками ограничивается словами: социалисты все еще не могут себе представить, что большевики всерьез решили управлять сами. И для этого у них есть основания.

Наиболее серьезное сопротивление Ленин встречает в первую неделю после прихода к власти в рядах ближайших товарищей: в ЦК и правительстве. Когда Всероссийский исполком профсоюза железнодорожников (Викжель) потребовал 29 октября создания «однородного социалистического правительства» из всех советских партий, пригрозив всеобщей железнодорожной забастовкой, в ЦК большевистской партии и в правительстве произошел раскол. Зинаида Гиппиус, писавшая: «Уже развел руками черными Викжель пути», — ошибалась. «Руки» у исполкома профсоюза железнодорожников не были «черными», то есть цвета реакции, они были розовыми. В дни Октябрьского переворота нейтралитет Викжеля, не пропускавшего эшелоны с фронта в Петроград, способствовал победе большевиков. И когда он предъявил свой ультиматум, ЦК в отсутствие Ленина, руководившего подавлением безнадежной попытки юнкеров поднять восстание в городе, и Троцкого, занятого мобилизацией сил против Краснова, согласился с «необходимостью расширения правительственной базы и возможностью изменения состава правительства». Делегация ЦК, явившаяся на совещание, созданное Викжелем, согласилась на создание коалиционного правительства из 18 членов, включающего 5 большевиков, но без Ленина и Троцкого. Делегация путиловских рабочих, прибывшая на совещание, заявила: мы не допустим

кровопролития между революционными партиями, не допустим гражданской войны. Один из рабочих подытожил мнение питерского пролетариата: к черту Ленина и Чернова⁵. Повесить обоих!

Ленин, поддержанный Троцким, отверг саму мысль о коалиции: «Если у вас большинство,— заявил он сторонникам многопартийного правительства,— берите власть в ЦК. Но мы пойдем к морякам!» В ответ на это Каменев, Рыков, Милютин, Зиновьев и Ногин вышли из ЦК; Рыков, Теодорович, Милютин и Ногин вышли из Совнаркома. В своем заявлении они подчеркивали, что есть только один путь сохранения чисто большевистского правительства — «средствами политического террора».

Как всегда Ленину удается шантажом отставки, угрозой обратиться к «низам» подавить бунт в собственных рядах. Каменев и его сторонники приносят повинную и возвращаются к лоно ЦК и СНК. Л. Б. Каменев, непризнанный отец будущего «еврокоммунизма», неоднократно при жизни Ленина предлагал меры по смягчению характера большевистской власти. И каждый раз быстро от своих предложений отказывался. Историки упрекают — и справедливо — соратника Ленина в слабости и нерешительности. Но отсутствие упорства в защите своих взглядов объясняется прежде всего тем, что Каменев при каждом споре с Лениным быстро убеждался: смягчение характера большевистской власти угрожает основам партии. На изменение характера партии старый большевик Каменев согласиться не хотел.

Отвергнув все попытки заключить компромисс, все притязания хотя бы на частицу власти со стороны других социалистических партий, Ленин еще раз подтвердил то, что было совершенно недвусмысленно сказано в «Правде» на следующий день после внятия Зимнего дворца: «Мы берем власть одни, опираясь на голос страны и рассчитывая на дружескую помощь европейского пролетариата. Но, взяв власть, мы будем расправиться железной рукой с врагами революции и саботажниками... Они мечтали о диктатуре Корнилова... Мы дадим им диктатуру пролетариата...» Для Ленина «диктатура про-

летариата» означала диктатуру партии большевиков, его партии.

Советская власть, как стала называть свою власть партия большевиков, распространялась по стране, не встречая серьезного сопротивления. Лишь в Москве, о которой Ленин говорил, что «победа там обеспечена и драться некому», сопротивление продолжалось 8 дней. Как правило, местные гарнизоны и вооруженные рабочие отряды легко справлялись со всеми попытками помешать захвату власти большевиками. Убийство верховного главнокомандующего генерала Духонина в Могилеве красногвардейцами из отряда нового главковерха прапорщика Крыленко завершило уничтожение старой армии. Выражение «в штаб к Духонину» стало первой из бесчисленного ряда метонимий, заменявших слово «убийство», ставшее самым распространенным в русском языке. Максимилиан Волошин в стихотворении «Терминология» назвал лишь несколько: «Брали на мушку», «ставили к стенке», «списывали в расход», «хлопнуть», «угробить», «отправить на шлепку», «к Духонину в штаб», «разменять»...

Консолидация советской власти не могла считаться завершенной до решения проблемы Учредительного собрания. Решение о созыве Учредительного собрания, свободно избранного всеми гражданами страны для определения будущего политического строя России, было принято Временным правительством. «Лучшие русские люди, — писал М. Горький, — почти сто лет жили идеей Учредительного собрания». Свою кампанию против Временного правительства большевики вели, в частности, под лозунгом защиты Учредительного собрания, обвиняя правительство в том, что оно «мешает хозяину русской земли сказать свое властное слово». 4 апреля, едва приехав в Россию, Ленин с возмущением заявил: «Мне приписывают взгляд, будто я против скорейшего созыва Учредительного собрания!!! Я бы назвал это бредовыми выражениями, если бы десятилетия политической борьбы не приучили меня смотреть на добросовестность оппонентов, как на редкое исключение».

Выборы в Учредительное собрание — самые свободные в истории

России — состоялись уже после Октябрьского переворота. Состав Учредительного собрания: социалистические партии — 59,6% (в том числе эсеры 40,4%, меньшевики 2,7%), большевики — 24%, буржуазные партии — 16,4% — определил отношение к нему правящей партии. Отношение резко отрицательное. Тем не менее 5 января 1918 года Учредительное собрание было создано. Управляющий делами СНК, друг Ленина и руководитель так называемой 75-й комнаты (зародыша советских карательных органов), Владимир Бонч-Бруевич рассказывает о «веселом разговоре» в «заранее подготовленных для Владимира Ильича» комнатах Таврического дворца накануне первого заседания Учредительного собрания: «Если мы сделали такую глупость, что пообещали всем собрать эту говорильню, мы должны ее открыть сегодня, но когда закроем, об этом история пока помалкивает», — смеясь ответил Владимир Ильич одному из товарищей, который настойчиво вопрошал, когда же, когда будет открыто Учредительное собрание⁶. Для того чтобы депутаты русского парламента знали, кому принадлежит власть, Бонч-Бруевич ввел в Таврический дворец «надежнейший отряд матросов» — 200 моряков. Выходило, примерно, по одному моряку на двух депутатов, что полностью компенсировало отсутствие у большевиков большинства. «Я заметил, — рассказывает Бонч-Бруевич, стоявший вместе со своими моряками в зале, — что двое из них, окруженные своими товарищами, брали Чернова на мушку, прицеливаясь из винтовки». Бонч-Бруевич посоветовал не убивать председателя Учредительного собрания, добавив, что Ленин этого не разрешает. «Ну что же? Раз папаша говорит, что нельзя, так нельзя, — заявил мне за всех один из матросов». «Папаша», как ласково называли матросы Ленина, считал в этот момент достаточным Учредительное собрание разогнать; Ленин собрал членов правительства, «быстро обменявшись мнениями, все пришли к единогласному мнению, что эта говорильня решительно никому не нужна... Решили — собрание не прерывать, дать возможность всем вволю наболтаться, но на другой день

не возобновлять заседания, объявить Учредительное собрание распущенным, а депутатам предложить вернуться к себе по домам».

Ленин окончательно потерял всякий интерес к Учредительному собранию после того, как оно отказалось передать все свои полномочия большевистскому правительству. Исторические слова командира отряда моряков Железнякова — «караул устал» — завершили краткую историю свободного русского парламента. Воля караула становится высшим законом.

Огромную помощь в разгоне Учредительного собрания и в упрочении власти большевиков сыграли левые эсеры, фракция, отколовшаяся от партии социалистов-революционеров. После Октябрьского переворота левые эсеры, руководимые М. Спиридоновой, Б. Камковым, В. Карелиным, короткое время придерживаются благожелательного нейтралитета по отношению к новой власти, затем входят в правительство, получая три министерских поста, позволяя таким образом представить правительство Ленина как многопартийное. В Учредительном собрании левые эсеры составляют единый блок с большевиками.

Накануне созыва Учредительного собрания Ленин впервые выступает в роли следователя, судьи и исполнителя приговора. Бонч-Бруевич докладывает ему «первые сведения о саботаже», собранные в 75-й комнате; Ленин, «тщательно проверив и прочтя всё, исследовав происхождение документов, сличив почерки и пр.», приходит к выводу, что «действительно движение саботажа существует, что оно руководится по преимуществу из одного центра и что этим центром является в большинстве случаев партия к.-д., и решает объявить партию «вне закона», а ее членов — врагами народа. Через несколько дней как председатель СНК Ленин подписывает соответствующий декрет. Выбросив из Учредительного собрания партию кадетов, при поддержке левых эсеров Ленин мог без всякого труда разогнать парламента. Побочным действием декрета об объявлении партии кадетов «вне закона» было убийство в больнице двух руководителей этой партии, депутатов Учредительного соб-

рания А. И. Шингарева и Ф. Ф. Кошкина.

Демонстрация, состоявшаяся в Петрограде после разгона Учредительного собрания, была расстреляна Красной гвардией. «В манифестации принимали участие рабочие Обуховского, патронного и других заводов; под красными знаменами Российской с.-д. партии к Таврическому дворцу шли рабочие Василеостров-

ского, Выборгского и других районов. Именно этих рабочих и расстреливали и «сколько бы ни лгала «Правда», она не скроет этого позорного факта», — так писал Максим Горький в статье «9 января — 5 января», ставя в один ряд расстрел рабочих царскими солдатами в 1905 году и расстрел рабочих красногвардейцами в 1918 году.

(Продолжение следует)

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Американский журналист Гаррисон Солсбери полагает, что Ленин в этот период находился в состоянии возбуждения, свойственного людям, страдающим маниакально-депрессивным психозом. Такое состояние описал в книге «Встречи с Лениным» И. Валентинов, часто видевшийся с будущим вождем революции в Швейцарии в 1904 году.

² П. Паскаль имеет в виду одного из крупнейших русских промышленников.

³ В июле 1917 года, когда в печати появляются многочисленные статьи о сотрудничестве большевиков с немцами, Ленин обращается за помощью к «Новой жизни». Он просит напечатать свое письмо, начинающееся словами: «Позвольте, товарищи, обратиться к вашему гостеприимству. . .»

⁴ Министр юстиции Временного правительства, «режим» его трудно назвать тираническим.

⁵ В. Чернов — лидер партии социалистов-революционеров.

⁶ Биографы Ленина не обратили должного внимания на то, что о самых серьезных вещах Ленин всегда говорил «смеясь». Видимо, был он очень веселый человек, хотя и со странным чувством юмора.

Примечания авторов.



⁷ Ингсундс Видбергс.
II: цикла
«Дорога скорби».
В последний путь. 1948

ФИЛОСОФИЯ БЛАТНОГО ЯЗЫКА

Это, конечно, профессиональный жаргон, а не язык. Он предназначен обслуживать деловые потребности воровства и проституции. Он использует общенародный русский и прячется от него за системой намеков и переименования слов и смысла слов. Он зашифровывает себя от постороннего понимания. Это лишь критическая сторона. Есть и другая — и не сторона, а суть. Воровской жаргон, ставший основой лагерного языка, есть речь ненависти, презрения, недоброжелательства. Он обслуживает вражду, а не дружбу. Он выражает вечное подозрение, вечный страх предательства, ужас наказания. Этот язык не знает радости. Он пессимистичен. Он не знает дружбы и товарищества. Ненависть и боязнь, недоверие, уверенность, что люди — сплошь мерзавцы, ни один не заслуживает хорошего отношения — такова его глубинная философия. Это — язык мизантроп.

Я бы указал на такие главные особенности блатного жаргона.

I. СЛОВЕСНЫЙ КАМУФЛЯЖ

Блатная речь предназначена для профессиональной информации, к тому же такой, чтобы в нее не вник посторонний. Естественно, жаргон перегружен терминами ремесла. Это общая особенность всякого профессионального жаргона. Но если иные жаргоны — заводские, моряцкие, горняцкие, научные и т. д. — придумывают для своих операций, инструментов и понятий новые слова, то блатной язык применяет метод наивней и примитивней — он переименовывает известные слова. Так появляются орел (сердце), балда (луна), бацилла (масло), волына (ружье), букет (набор статей), туз (задница), гроб (сундук), генерал (сифилис), гад (милиционер), замазка (проигрыш), свист (болтовня), копыто (нога), лапа (взятка), кукла (подделка), лоб (здо-

ровка), медведь (сейф), мелодия (милиция), угол (чемодан) и т. д. Словообразование в принципе чуждо блатному языку. Оно просто непосильно для блатных, это не для их интеллектуальных возможностей. Лагерные варианты языка в этом смысле много содержательней. Лагерники придумали такие новообразования, как вертухай, доходяга, филон, духарик, заначка, мастырка, дрын, кир, кимарить, зека, оторва, отрицаловка, нечтяк, чифирь и т. д. Типично воровские новообразования, как шалава, биксы, фиксы, понт, локш и пр., не образуют специфики языка. Именно бедность неологизмами делает блатной язык малоэффективным в своей информационной функции. Ремесло шире обслуживающего его жаргона. Вору сложно передать адекватно специальными терминами свое дело и цели, он должен переходить к общему языку, а это создает опасность дешифровки. Поэтому намек является важнейшим элементом речи, и часто поминаемое многозначительное словечко «понял» становится чем-то вроде тире или восклицательного знака, обращающего внимание слушателя на тайный смысл речи, полностью не выраженной даже кодированными терминами. Подтекст, подспудность речи становится не оригинальным приемом, а серой нормой. Любители двойного течения речи нашли бы много любопытного в разговорах воров и даже лагерных придурков. И, вероятно, они с удивлением бы убедились, что непомерное развитие подтекста не обогащает, а обедняет речь. Язык, где слишком много значения дано тайному смыслу, становится равнодушным к явному значению слов, он не стремится развить свою информационную функцию, он консервируется, теряет стимул развития — может и прямо деградировать. Он становится внешним содержанию. Из

домика, с которым свита живая улитка-смысл, он превращается в равнодушный к своему содержанию ящик — толкай в него что заблагорассудится. Иные воры, свободно ориентирующиеся в интонационной многозначности своих слов, теряют дар речи, когда говорят с теми, кому «до лампочки» их профессиональные подтексты. Я с ворами довольно часто беседовал. И убеждался, что в обычной речи они становятся косноязычными, мучительно подыскивают недостающие слова, пытаются многочисленными «понял, понял» восполнить скудность, неточность и невыразительность языка. Пустая вымученная болтовня — таково впечатление от их разговора. И тем, кто восхищается красочностью и меткостью блатного жаргона, я мог бы, на основании своего многолетнего опыта общения с ворами, возразить, что не надо путать два-три десятка ярких словечек с языком, слагающимся из десятков тысяч слов. Блатной жаргон скуден. Блатная музыка давно не звучит по Бодуэну де Куртене, как она, возможно, звучала когда-то у мастеров ремесла. И чем дальше, тем блатной жаргон сильнее вырождается. Это связано не только с деградацией воровства как профессии. Деградация речи — внутренняя тенденция воровского жаргона. Был тяжкий период в нашей истории, когда раковая опухоль лагерей распространилась по всему телу страны. И лагерный говор захлестывал тогда живую речь, становился общепринятым жаргоном молодежи, приобретал черты какого-то чуть ли не «неорусского» языка. Зараза лагерей преодолена. Зловещее утверждение лагерного жаргона нам не грозит. Увлеченность молодежи лагерными словечками резко ослабла и все больше слабеет. Лишь немногие слова, почерпнутые из лагерей, прочно утвердились в языке, остальные вымылись и продолжают вымываться.

2. ПРИНЦИП КОДИРОВАНИЯ — ВЕЩНОСТЬ И ЧАСТНОСТЬ

Итак, в блатном жаргоне слова переиначиваются. Но не хаотично, а согласно определенной логике. Если имеется объект А, то для его обозначения подбирается название другой

вещи Б, один из признаков которой может характеризовать также и А. Название Б становится кодом А, потому что какое-то свойство, черта, особенность Б роднит его с А или позволяет их соединять по отдаленному сходству. Примеры: дымок — табак, тут соединение по дыму; корова — осужденный на съедение беглец: и то и другое — мясо; котел — голова, сходство формы; лепить — придумывать: сходство в том, что рассказчик не описывает реальный факт, а лепит фантастическую конструкцию; клюка — церковь, у церкви масса старух с клюками; огонек — обессиленный, в том и другом случае дунь — и погаснет; пришить борю — обмануть, гримировка — форма обмана; сопатка — нос, кодировка по сопению; стукач — доносчик, доносчику надо постучаться в дверь камеры, чтобы его провели к «куму» на доклад; угол — чемодан: чемоданы, как известно, угловаты. И т. д. и т. п.

Две главные особенности отличают логику словесного камуфляжа.

1. Вещность. В качестве определяющего признака слова берется какая-то зримая, обоняемая, ощущаемая черта. Абстрактное представление для кодировки не годится, за очень редкими исключениями (напр., центр — хорошая вещь, заслуживающая того, чтобы ее украли). Благодаря такому отбору язык делается образным, он рельефно изображает то, о чем говорится: туз — задница, селедка — галстук, серьга — висячий замок, стукач — доносчик, фары — глаза, грабки — руки, ботало — язык, попка — охранник. Блатной жаргон придает утратившим конкретность словам их былую вещественность. Они становятся яркими, в них реально совершается отстранение, о котором мечтает каждый писатель — вероятно, в этой возобновившейся первоначальной картинности слова, в его яркости, в его меткости и таится добрая доля очарования, какое жаргон явил для молодежи. В этом языке мыслят картинными, признаками, чертами, а не абстракциями — он апеллирует к чувству, а лишь через него — к разуму: логика дикаря или ребенка. Леви Брюль нашел бы в воровском жаргоне любопытные подтверждения своих концепций.

2. Частность. Отказываясь от общего представления о вещах и действиях, воровской жаргон заменяет их частностями. В роли целого выступает деталь, службу сущности несет признак. Мир, описываемый воровским жаргоном, чудовищно искажен. Не следует, однако, делать вывод, что названия вещей и действий в жаргоне всегда конкретней реальности, кодом которой они служат. Название может быть абстрактней, более общее, чем описываемый объект, но одновременно оно есть деталь и конкретность какого-то другого объекта. Например, чемодан — угол. Угол — более абстрактное понятие, нежели чемодан, но вместе с тем для любой конкретной вещи с углами он лишь деталь, не имеющая самостоятельного существования (если исключить геометрию, но воры в школьной математике несильны и геометрией не увлекаются). И получается двойное движение понятия: угол, ставший чемоданом, теряет всю свою общность, ибо отныне он конкретная вещь; но одновременно он становится и более общим, ибо отныне угол включает в себя и углы (заданные), он уже не деталь, а целое.

Часть, выступающая символом целого, — такова одна из формул воровского жаргона.

3. ОСКОРБЛЕНИЕ КАК ГНОСЕОЛОГИЯ

Поскольку в качестве кода объекта выбирается какой-либо признак этого или иного объекта, часть выступает как целое. Я об этом уже говорил. Но как подбираются признаки или свойства на роль целого? Об одном критерии подбора я уже упоминал — вещности. Признак должен говорить что-то чувству, он должен не только характеризовать непосредственно понятие, он, характеризую его, должен его живописать. Конкретность становится ликом общности. Но можно пойти и дальше абстрактного констатирования конкретности. Конкретность жаргона — оскорбительная. Его вещьность — издевательская. Его меткость — ненавидящая. Его яркость — глумливая. Признак для наименования объекта подбирается так, чтобы унижить, оскорбить, осмеять объект. Если некое X может быть

охарактеризовано признаками А, Б, В, Г, Д, Е и ведомо, что А и Е восхваляют X, а В и Г описывают с холодным равнодушием, Д — позорит, то вор выберет в качестве характеризующего словечка именно Д. Так появляются словечки-оскорбления: гад — милиционер, балда — луна, битый — опытный, шивка — бедняк, доходяга — ослабевший, зверь — кавказец, клюка — церковь, кобылка — веселая компания, лепило — врач, олень — северный человек, придурок — лагерный служащий, упасть — влюбиться. Достаточно перелистать словарь, чтобы убедиться, как много слов-оскорблений. А если к тому добавить слова-насмешки (фанера, темнило, простячка, припухать и т. д.) и слова-презрения (тряпки — одежда, псы — охрана, вертухай, сявка и т. д.), то станет ясно, как далеко идет стремление самим строем, самым смыслом слов охаять, оскорбить, обидеть, поиздеваться. Жаргон видит в мире почти исключительно сквернятину и со злорадностью ее живописует.

А к этому обязательно добавить, что блатной жаргон не признает высоких понятий. В мировой литературе обильно расписан аристократизм воров, их товарищество, взаимная выручка, верность воровскому долгу и т. п. Но писали о ворах отнюдь не воры. Ручаюсь, что ворами Вотренов, Рокамблей, Костей-капитанов ни разу не залезали своей рукой в карман ближнего своего. И сомневаюсь, чтобы Эжен Сю распутывал парижские тайны в реальных малинах и ховирах (хотя его описание, вероятно, ближе других к истине). Видок — то исключение, которое подтверждает правило. Я прожил с блатными десяток лет, видел их в жите и на работе, слушал их рассказы и жалобы, наблюдал их взаимные ссоры и примирения и могу засвидетельствовать: воровское кодро — сообщество, скрепленное взаимным страхом возмездия и безвыходностью. Это царство рока. Пауки в банке ведут себя гораздо миролюбивей. Вечные взаимные подозрения, вечный ужас предательства, страх возмездия, жажда мщения, планы мщения — вот норма их взаимоотношений. Достаточно поглядеть на подозрительные, настороженные глаза любого блатного, чтобы уразуметь природу их речи. Непре-

рывное ожидание опасности — не только извне, но и от своих, — порождает такое же непрерывное недоброжелательство. Жизнь суживается до сегодняшнего дня, который так непросто прожить. От каждого ожидают только плохого. Люди в принципе — подлецы. Хорошими они могут стать лишь по принуждению, лишь под угрозой и, естественно, неискренне. Гегель как-то заметил, что люди по природе злы. Вор добавил бы — не только злы, но и скверны. Тут еще есть и мотив самооправдания: если все люди подлы, то и с ними правомочно поступать подло. При такой системе взглядов любая собственная подлость приобретает розоватый оттенок доблести. Это, если хотите, моральная самозащита, и она очень важна. В печальном и поэтическом романе Олдингтона «Все люди — враги» два героя тоскуют о недостижимой высоте. Воры согласились бы с формулой „все люди — враги“, но с добавкой, что высота — не выше глотки, куда надо в час радости пихать жратву и водку. Высшие человеческие радости им не только неизвестны, они недоступны, они в ином, неизвестном мире, они — ноумены. Широкого мира для вора вообще нет, для него существует только окружение. Вселенная для вора — набор окружений и ситуаций, в каких довелось самому побывать. Любопытно поглядеть, как воры знакомятся (по их термину — обнюхиваются). Они окидывают один другого подозрительными взглядами, долго допытываются: «А Ваську Карзубова знаешь? А Сашку Семафора? С Фатимкой Владивостоцким бегал? С дядей Костей дохнули (спали) рядом и кореш!» Это не только вручение визитных карточек, но и выяснение многообразия связей с кодлом, и установление масштабов мнения, которое обрушится на нового знакомого в случае предательства — чем выше ранг вора, тем злей покарают его за измену. Обреченность определяет психологию, рок очерчивает пределы миропонимания. Все против меня, а что именно — сам не знаю, кругом вражки морды, неверный шаг — и попал в непонятное. Непонятное — любимый термин воров. Он выдает агностицизм их видения или, вернее, невидения мира. А что вор и видит, то видит, ненавидя и презирая, страшась и издеваясь. Удивительны ликования

воров при малейшей удаче. Я вначале поражался тому, какой взрыв восторга порождает у них любой успех. И лишь впоследствии понял, что ликуют не по случаю крохотного везения, а потому, что не осуществились опасности, зловещей тенью нависавшие над «делом», радуются, собственно, не тому, чего сами достигли, а тому, что не удалось противникам.

При таком мироощущении в блатном жаргоне должны отсутствовать слова, информирующие о высоких моральных категориях. Вор не говорит о том, чего нет в его окружении, а если и случится ему порой проникнуть в мир моральных ноуменов, то, косноязыча и матерясь от затруднения, он прибежит к общенародному языку, обслуживающему эти диковатые, далекие от него критерии мира, где царит безраздельно «непонятное». Вместо «Я тебя люблю» появляется цинично-издевательское «я на тебя упал», вместо друга — кореш, вместо мудреца и руководителя — пахан, вместо содружества — кодло, вместо работать — вкалывать, вместо ружья — дура, вместо уважительного смельчак — недоброжелательное духарик. А такие категории, как нежность, ласка, привязанность, честность, верность, стойкость, глубина, доброта, самопожертвование и сотни им содружественных, — вообще изгнаны из лексики, ибо нет их в жизни блатного. Высшая степень оценки человека — цедимое сквозь зубы «правильный мужик», «правильная баба». Блатной язык не признает восхвалений человека, он обслуживает лишь его унижение. Такова гносеология блатного — все сволочи, от любого жди подлости, а что сверх этого — то «непонятное». И моральный императив, вытекающий из такой гносеологии, по-своему логичен: с каждым поступай подло, делать другому подлость — хорошо, и предел твоего подлого отношения к подлецам определен лишь неизбежностью кары.

Языки мира изучены подробнейшим образом с точки зрения лексики, семантики, грамматики, синтаксиса. Но, сколько я знаю, и; не изучали как моральную систему, как этическую философию. А жаль. Открылось бы много любопытного. Я пробовал это сделать. Думаю, что язык — имею в виду один, реально существующий — в котором 50 синонимов

глагола украсть и только 5 — зарабатывать, 100 оскорбительных названий человека, вроде дурак, мерзавец, негодяй, лентяй и т. д. и только 10, восхваляющих его, вроде мудрец, добряк, смельчак, молодец — такой язык зарождался во времена социального антагонизма, а не социальной гармонии. Уверен, что язык будущего гармонического общества и по лексике своей будет отличаться от сегодняшнего, еще выражающего давно преодоленные стадии взаимного недоброжелательства и взаимного соперничества. И уверен также, что в любом языке и жаргоне жаргон блатных будет резко выделяться своей антигуманностью — презрением к человеку, издевательством над человеком, отрицанием в человеке всего нравственно честного и высокого. По философской сути своей блатной жаргон — антиморален.

4. ИНФОРМАТИВНОСТЬ ВЗАМЕН МЫШЛЕНИЯ

Главная функция блатного жаргона — информативность. Это связано с высокой степенью профессионализма. Вместе с тем он недостаточен для обслуживания ремесла во всей его полноте, благодаря чему так развита в нем система намеков и подтекста. Практически он не справляется со своей прямой функцией и очень многие «качания прав» исчерпываются взаимными уточнениями недосказанного и невыясненного. Очень забавно следить, как воры путаются, когда приходится объяснять друг другу что-нибудь, хоть сколько-нибудь выходящее за меж блатного. Краткая, резкая, точная речь вдруг превращается в тягучую болтовню, рассказчик тонет в болоте тусклых слов.

И соответственно блатной жаргон не годится для логического мышления. Мышление невозможно без абстракций, без обобщения конкретности, без подъема над конкретностью. Именно это отсутствует в блатном жаргоне. Он даже общие понятия характеризует конкретными признаками. Благодаря такой особенности он кажется парадоксальным, поражает яркостью и меткостью. Если мы когда-нибудь откроем язык неандертальца, он, вероятно, тоже покажется нам ярким и метким. Но

Гегель или Достоевский не найдут собеседника в неандертальце. Узкий прагматизм блатного жаргона делает его непригодным для мышления. Речь в данном случае идет не об абстрактном мышлении, а о мышлении логическом, замкнутом конкретной сферой. Даже если в своей профессии надо выйти за пределы деловой информации, воры обращаются к общепонятному языку. Декарт не мог бы вырости среди воров. Блатной существует не потому, что мыслит, а потому, что с недоступной нам остротой ощущает брэнность существования. Бытие — всегда на пределе: и он может ежесекундно оборвать любое бытие, и его бытие могут оборвать или круто переменить. Рок ощущается всегда и всюду, это, правда, не создает фатализма, но и не стимулирует абстрактного мышления. Бытие вора слишком активно, чтобы породить фатализм, он сам выступает в роли Антропос, перерезающей нить бытия, но лишь чужого, а собственное его бытие в руках злойшей Лаксис, — которая тянет нить его существования, независимо от его стараний, по унылой формуле «поволокло по кочкам». Бытие трагично и неожиданно, практически вся жизненная энергия тратится на то, чтобы уцелеть. Абстрактного мышления такая обстановка не стимулирует.

Оно невозможно и по иной причине. Я знал лишь одного блатного — Сашку Семафора, имевшего за собой несколько лет студенчества. Даже человека со средним образованием среди них встретишь редко. Обычно блатные — недоучки. И они остро ощущают, что недоучки и неудачники. Когда я был начальником лаборатории, многие мои работники-блатные поступали на курсы и в школу — мы подталкивали их к учению. Получение свидетельства или диплома было равнозначно уходу из кода. И наоборот, те, что оставались ворами, бросали учение. Это не значит, что они были лишены способностей. Среди воров типичны сообразительность, быстрая реакция, энергия, решительность — все это необходимые в их ремесле качества. Просто духовная культура и воровская профессия — понятия несовместимые.

В качестве примера употребления блатного жаргона прилагаю ироничную «Историю отпадения Нидерланд

дов от испанского владычества». Первый вариант ее, легкий, яркий и остроумный, был создан Львом Гумилевым. Я дополнил его версию, она стала от дополнений тяжелее и педантичней, но полнее. В ней представлены самые общие употребительные словечки лагерно-воровского жаргона. Мой текст приведен в скобках.

ИСТОРИЯ ОТПАДЕНИЯ НИДЕРЛАНДОВ ОТ ИСПАНИИ

В 1565 году по всей Голландии пошла параша, что папа — антихрист. Голландцы начали шипеть на папу и раскурочивать монастыри. Римская курия, обиженная за пахана, подначила испанское правительство. Испанцы стали качать права — нахально тащили голландцев на исповедь (совали за святых чурки с глазами). Отказчиков сажали в кандей на трехсотку, отрицаловку пускали налево. По всей стране пошли шмоны и стук, спешно стряпали липу. (Гадильники ломились от случайной хевры. В проповедях свистели об аде и рае, в домах стоял жуткий звон.) Граф Эгмонт на пару с графом Горном попали в непонятное. Их по запарке замели, пришили дело и дали вышку.

... Тогда работяга Вильгельм Оранский поднял в стране шумер. Его поддержали гезы (урки, одетые в третей срок). Мадридская малина послала своим наместником герцога Альбу. Альба был тот герцог! Когда он прихлял в Нидерланды, голландцам пришла хана. Альба распатронил лейден, главный голландский шалман, остатки гезов кантовались в море, а Вильгельм Оранский припух в своей зоне. Альба был правильный полководец. Солдаты его гужевались от пуза. В обозе шло тридцать тысяч шалашовок. (На этапах он не тянул резины наступал без показухи и туфты, а если приходилось канать, так все от лордов до попок вкалывали до опупения. На Альбу пахали епископы и князья, в ставке шестерили графья и генералы, а кто махлевал, тот загибался. Он самых высоких в котле брал на оттяжку, принцев имел за штопо-

рил, графинь держал за простячек. В подвалах, где враги на пытках давали дуба, всю дорогу давил ливер и щерился во все хавало. На лярв он не падал, с послами чернуху не раскидывал, пленных заваливал начистяк, чтоб был полный порядок.)

Но Альба вскоре даже своим переел плешь. Все знали, что герцог в законе и лапу не берет. Но кто-то стукнул в Мадрид, что он скурвился и закосил казенную монету. Альбу замели в кортесы на общие работы, а вместо него нарисовались Александр Фарнезе и Маргарита Пармская (два раззолоченных штымпа), рядовые придурки испанской короны.

В это время в Англии погорела Мария Стюарт. Машке сунули липовый букет и пустили на луну. Доходягя Филипп послал на Англию непобедимую армаду (но здорово фраернулся. Гранды-нарядчики филонили, поздно вывели армаду на развод, на армаде не хватило пороху и баланды. Капитаны загачили пайку на берегу, спустили барыгам военное барахлишко, одели матросов в локш, а кисвы выправили на первый срок, чтоб не записали промота. Княжеские сынки заряжали туфту, срабатывали мастырку, чтоб не переть наружу). В Бискайском море армаду драла пурга. Матросы по трое суток не кимарили, перед боем не покиряли. Английский адмирал из сук Стефенс и знаменитый порчак Дрей разложили армаду, как бог черепаху. Половина испанцев натянула на плечи деревянный бушлат, оставшиеся подорвали в ховиру.

Голландцы (обратно зашуровались и) вусмерть покатились, когда дотыркали про армаду. Испанцы лепили от фонаря про победу, но им не посветило — ссученных становилось меньше, чесноки шерудили рогами. Голландцы восстали по новой, а Маргарита Пармская и Александр Фарнезе смыслили во Фландрию, где народ клал на Лютера.

Так владычество испанцев в Голландии накрылось мокрой...

ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ ЛАГЕРНО-ВОРОВСКОГО ЯЗЫКА

А

АКТИРОВАТЬ Освободить от работы. Активированная погода — нерабочая.
АТАНДЕ Сигнал опасности. Берегись!

Б

БАБКИ Деньги
БАБОЧКА Галстук. Он же селедка, которая также сабля.
БАЛАНДА Жидкая тюремная похлебка, она же суп таратуй. Баланда с карими глазками — хлебово из селедочных голов.

БАЛАБАС Сало.
БАЛДОХА Солнце.
БАЛДА Луна.
БАН Вокзал.
БАНДЕРОЛЬ Пачка денег.
БАЛОЧКА Базар, толкучка.
БАТЯ Пожилой мужчина. Оттенок уважения.
БАРЫГА Спекулянт, скупщик краденого.
БАЦИЛЛА Масло, сало, жиры. Питательная пища. Выгодное дело. Туберкулезник.

БЕГАТЬ Идти. Побежим. Пойдем.
БЕГАТЬ ПО СОННИКУ Воровать в ночное время у сонных.
БЕРДАНА Передача.
БЗДЕТЬ Бояться, страшиться. (Он ее тянет, а она его бздит — он ее ругает, а она его боится.)

БИТЫЙ Опытный, наученный жизнью. Оттенок уважения. Битый фрей — фрайер, умеющий за себя постоять, знающий воровской закон и сам на рожон не прущий.

БЛЯДЬ Женщина легкого поведения, но не проститутка. Нейтральный термин. По отношению к мужчине оттенок ругательства, по отношению к женщине — нет.

БЛЯДЬ БУДУ! Честное слово! Ей-богу!
БОКА Часы.
БОЧАРЫ Часы.
БОЙ Карты. Они же колотье и тыри.
БОБР Зажиточный фрайер на воле. Завидный объект для облапошивания.

БОБКА, БОБОЧКА Рубашка.
БЛАТНОЙ Лагерное наименование воров. Между собой воры не употребляют этого слова.

БЛАТЯК Презрительное наименование воров у лагерных придурков.
БРАТЬ НА ОТТЯЖКУ Запугивать криком, грозным видом, но без рукоприкладства.

БОТАЛО Язык.
БОТАТЬ Говорить.
БИКСА Она же проблядь. В принципе — блядь, но с оттенком пренебрежения.

БУГОР Бригадир на лагерных работах.
БУШЛАТ Ватное короткое пальто без воротника или с намеком на него.

БУКЕТ Внушительный набор статей уголовного кодекса.
БУРКАЛЫ Глаза. Они же гляделки и полтинники. Оттенок пренебрежения — «ывалил буркалы».

БУХАРИТЬ Выпивать.
БУХОЙ Пьяный.
БЫТОВИК Лагерник, осужденный по бытовым статьям УК.

В

ВАСЕР	То же, что и шухер. Тревога, смятение, опасность со стороны милиции.
ВАНТАЖ ВАНТАЖИСТ	То же, что и кураж. Прибыль. Материальное процветание. Карточный умелец, выигрывающий у всех. Если и шулер, то такой, что не поймать.
ВЕЛИК	Велосипед.
ВКАЛЫВАТЬ	Работать на тяжелых работах. То же, что пахать, но пахать звучит уважительней и работа не обязательно тяжелая.
ВТЫКАТЬ	То же самое, что вкалывать, но еще пренебрежительней и недоброжелательней.
ВЕРТУХАЙ ВОР	Надзиратель в коридоре тюрьмы. Вообще — конвойный. Нормальное наименование профессии. Соединяется с многочисленными дополнениями. Только для тех, кто начал воровать на воле, а не в лагере. Профессионал.
ВОР АВТОРИТЕТНЫЙ	Уважаемый вор, с мнением которого считаются все прочие воры, включая и тех, кто сам имеет в обучении сявок и огольцов. Если он пожилой, то называется паханом.
ВОР ВЗРОСЛЫЙ	Опытный профессионал. Умеет самостоятельно вести воровские дела.
ВЕРХА	Наружные карманы, в том числе и брючные.
ВОЛЫНА	Оружие — пистолет, револьвер. Она же дура.
ВОШЛЯКИ	Мандавошки.
В РОТ МЕНЯ!	Честное слово! Обещаю! Выполню! Самое точное — ей-богу!
ВЕК СВОБОДЫ	Та же божба. Ближе всего опять — ей-богу!
НЕ ВИДАТЬ!	
ВЕРТЕТЬ	Воровать. Отвернуть — украсть.
ВСЮ ДОРОГУ	Непрестанно. Постоянно. Все время.
В УСМЕРТЬ КАТАТЬСЯ	Высшая степень удовлетворения. Нажраться, напиться. Нахотаться.
ВЫВЕЛ	Вытащил вещь наполовину (из кармана, из записки).
НА ПЕРЕЛОМЕ	
ВЫШКА, ВЫШАК	Высшая мера наказания.
ВШИВКА	Бедняк, оскудевший.
ВЫКУПИТЬ	Украсть из кармана.

Г

ГАД	Милиционер.
ГАДИЛЬНИК	Отделение милиции.
ГАРАНТИЯ	Скудный паек — шестьсот граммов хлеба и один раз в день баланда для тех, кто отказывается от работы в лагере или систематически не выполняет нормы. Гарантированное довольствие заключенного, не создающего себе трудом приработка.
ГЕНЕРАЛ	Сифилис.
ГЛОТНИЧАТЬ	То же, что тянуть. Орать.
ГЛЯДЕЛКИ	Глаза.
ГОВОРИТЬ	Обманывать. Лукавить. Забывать баки. Заведомая неправда. Прямое значение — беседовать с кучкой людей.
С ПОНТОМ	Полновесная порция хлеба. Пайка что надо. Получать горбушку — высшая мера рабочего поощрения.
ГОРБУШКА	Руки.
ГРАБКИ	Деньги.
ГРОШИ	Сундук.
ГРОБ	Ублажать себя. Гужуюсь от пуза — по горло удовольствий.
ГУЖЕВАТЬСЯ	Дружески шутовское обращение к товарищам.
ГОСПОДА УДАВЫ!	
ГОСПОДА ВОЛКИ!	
ГУДОК	Задница. Она же туз.

Д

ДАВИТЬ ЛИВЕР

Наблюдать. Оттенок высокомерия и превосходства, а не простой внимательности. Иногда ирония, смешанная со злорадством.

Умереть.

ДАТЬ ДУБАРЯ
ДИКАЯ ИНДИЯ

Собрание доходяг. Они же фитили и огни. Сборище, где «вечно пляшут и поют». Обычно без сочувствия к бедствующим. Гроб. Натянуть на плечи деревянный бушлат — помереть.

ДЕРЕВЯННЫЙ
БУШЛАТ
ДОМУШНИК

Он же скокарь и слесарь — специалист по ограблению квартир, где нет хозяина, но висит замок.

Местная, не залетная воровка.

ДОМАШНЕЧКА
ДЕСЯТИМЕСТКА

Раньше 100 рублей (10 червонцев). Вору устойчиво считали на червонцы, когда их уже в обычном помине и не было.

ДЕСЯТИК
ДРАЙКА
ДОХОДЯГА

То же самое.

Трешка.

Слово, ставшее общелитературным. В известные годы слишком уж распространено было явление, обозначавшееся этим словом.

ДРЫН
ДУДЕРГА
ДУБАРЬ
ДЫМОК

Палка, почти дубина, коей можно любого отдрыновать.

Винтовка или ружье.

Мертвец.

ДУРА
ДУХАРИК

Курово. Все виды папирос, а также табак. Нет ли дымка? — одолжи табачку.

Ручное огнестрельное оружие. Оно же волына.

Разбитной парень, смельчак, отчаянная голова — из тех, кому море по колено и в трезвом состоянии. Обычно народ не только смелый, но и истеричный.

Е

Е . . Т Ь

Мучить. В общежитейском смысле применяется очень редко. Для обозначения полового сношения употребляются словечки вроде перепихнуться, толкнуть, запистонить, пошворить, попхать, употребить, загнать дурака под кожу, а всего чаще — оформить и задуть.

Е . . Л Ы
Е . . Л ЬНИК

Губы.

Рот. Он же хавальник.

Ж

ЖЕЛЕЗКА
ЖЕНА
ЖОПНИК

Железная дорога.

Сожительница, которой помогают материально.

Он же очко. Задний карман на брюках.

З

ЗАЖАТЬ
ЗАКОН

Скрыть, утаить.

Строгие правила воровского поведения. Те, кто в законе, не занимают административных должностей в лагере и тюрьме и не делают ничего, что могло бы помешать воровским делам. Альтернатива вору в законе — сука или ссученный. Вор в законе — чеснок или чеснок. Борьба чесноков и сук за власть в лагере и за командование бытовиками является драматической главой истории исправительно-трудового лагеря НКВД. В заводских и строительных лагерях верх брали суки, на лесоповале и в сельских лагерях — чесноки. Изто были самые страшные лагеря.

Карманы заколоты булавкой.

ЗАБИТЫ ВЕРХА
(ОЧКИ)
ЗАГНУТЬСЯ
ЗАДУТЬ
ЗАКОСИТЬ

Погибнуть.

Всунуть. Термин не только для интимных дел.

То же, что зажать, но только от своих. Украсть или утаить

	от товарищей. И, как правило, не свое, а уворованное или полученное от другого.
КАЛЕПИТЬ СКОК	Обокрасть квартиру. Примерно равнозначен — застучать ховиру.
КАЛОЖИТЬ	Предать, выдать. Свою вину свалить на друга или соседа.
КАЛЫСИТЬ	Проиграть. То же, что попасть: попал на пятьсот.
КАМАЗКА	Проигрыш, потеря. Остался в большой замазке — крупно проиграл.
КАКА	Заключенный. Они делились на блатных, бытовиков и пятьдесят восьмую (политики).
КАМЕСТИ	Забрать, удалить, отправить подальше. Замести на этап, замести на общие — удалить по этапу, направить на тяжелые работы.
КАНАЧКА	Укромное место. Часто и сама утайка. Слово стало общенародным.
КАНАЧИТЬ	Утаить в смысле сохранить, а не уворовать. Заначивают свое, а не чужое.
КАЛЕТНАЯ ШАЛАВА	Проезжая воровка. Гастролер.
КАПАРКА	Поспешность. Ошибка, вызванная поспешностью.
КАПИСКА	Письмо. Не смешивать с пиской — лезвием бритвы.
КАПОРОТЬ,	Зарезать человека ножом, но не размозжить череп и не застрелить. Впрочем, второе слово иногда употребляется
КАДЕЛАТЬ	и в общем смысле — убить.
КАТУРИТЬ	Подавить, оттеснить, заставить ступаться.
КАЕРЬ	Восточный человек. Предпочтительней — кавказец, а не узбек или киргиз.
КАОН	Шум, сплетни, слухи. Звонить — сплетничать.
КАМЕЯ	Пояс, иногда — поезд.
КАЛА	Она же локш. Плохое, не стоящее внимания.
КАНА	Огороженное место работы. Часто — место обитания. Лагерная зона, например, зовется просто зоной (по номерам: первая зона, вторая, шестая . . .).
КАБР	Очень важный лагерный лорд. Придурок на высокой производственной должности. И не из воровского кодла, а пятьдесят восьмая, реже — бытовик. Такого и комендант зоны за шиворот не возьмет.
КАИЧИТЬ	Смотреть.
И	
КАМЕЮ ДЕСЯТИК	Выиграл сто рублей.
КАИ БРЯНСКОГО	Ни от кого. Письмо из Брянского леса — письма нет. Волк
КАСА	из Брянского леса тебе товарищ — нет у тебя товарищей.
К	
КАНАТЬ	Убегать. Сильное слово, требующее немедленного действия (канай!) или описывающее такое действие (каналы на пару с Петькой с кичмана — удрали вдвоем с Петькой из тюрьмы). Он же пердильник. Карцер или штрафной изолятор.
КАНДЕЙ	Увиливать от труда, пренебрегать работой.
КАНТОВАТЬСЯ	То же, что филон. Уклоняющийся от работы, но не прямой отказчик, а хитро избегающий дела.
КАНТОВЩИК	
КАКАТЬ ПРАВА	Выяснять отношения. Разоблачать. Дружеский допрос с большим пристрастием, чаще всего шипом или ором, но иногда и с ножом в руках. Качают права только воры в законе и только у своих.
КАКЮКА	Церковь. Ключарь, кликушник — грабитель церковей.
КАСОБЕЛ, КОБЛА	Женщина, играющая мужчину в лесбиянском действе. Также и «баба с яйцами», мужик в юбке.
КАКОВОРА	Человек, которого берут в дальний побег, чтобы в дороге съесть. Соответствующий термин — побег с коровой.

КОРОЧКИ	Туфли.
КОРЕШ, КЕРЯ	Товарищ. Слово стало общенародным.
КОСАЯ, КОСУХА	Тысяча рублей. Иногда кусок или штука.
КОСИТЬ	Утаивать от своих деньги или вещи. К утаиванию сведений не относится.
КОСЯК	Косой карман на «москвиче» или другой одежде.
КОТЕЛОК	Он же кумпол или шарабан. Голова. Со смыслом — мозги в голове.
КОТ	Сутенер.
КОТЫ	Валенки, чаще — укороченные валенки.
КОШАРЬ	Он же сидор. Мешок, котомка.
КРАСЮК, КРАСЮЧКА	Красивый человек. Оттенок пренебрежения.
КРИЧАТЬ	Говорить. И, как правило, негромко. Мне как-то сказал сосед: «Я Варьке (это был мужчина) тихо кричал, на ухо, понял!»
КРУТАНУТЬ	Забрать. То же, что прихватить. Крутануть с делом — забрать с полицным.
КСИВА	Документ. Ксиву ломать — проверять документы.
КУКЛА	Подделка вещи, в основном ткани, пачек денег, консервов и пр. Ловко сработанный муляж товара.
КУМ	Оперуполномоченный — тот, кто сватает со статьей.
КУРАЖ	Материальный успех, процветание, совершенное довольство В куражах — с прибылью.
КАЗАЧИТЬ	Раздевать, обирать, грабить. Казачнули фрайера — обобрали человека.
КАПТЕР	Заведующий материальным складом. Каптеры бывают — хлебные, вещевые, продовольственные. Каптер в лагере — вельможа и первый любовник. Простячки и биксы жаждут связи с ним.
КАРБУЗЫЙ	Беззубый или с выбитым зубом.
КАТИТЬ, КАТАТЬ	Играть в карты.
КАТУШКА	Максимальный срок наказания, полагающийся по статье. Навернули на всю катушку, дали всю катушку — получили максимальный срок.
КЕМЕЛЬ, КОМЕЛЬ	Кепка, фуражка. Также — камелюк.
КИЧМАН	То же, что кича. Тюрьма.
КИМАРИТЬ	Отсыпаться. Покимарить — поспать. Кимарнул — поспал.
КИР	Пьянка. Кирять — выпивать. Несколько крупней пьянка, чем бухара. Но иногда и наоборот, кирять сильней, чем бухарить.
КЛАСТЬ	Пренебрегать. Положил на него — плевал на него.
КЛИФТ	Пиджак, иногда пальто. Вообще мужская верхняя одежда.
КНОКАТЬ	Смотреть, глядеть. То же, что зырить.
КОБЫЛКА	Веселое сборище. Кобылка ржет — компания хохочет.
КОДЛО	Воровская компания. Из тех, что «свои в доску».
КОЛЕСА	Сапоги, чаще — ботинки. Аналогично — чеботья.
КОЛОТЫЙ БОЙ	Крапленые карты.
КОМЕНДАНТ	Заключенный — надзиратель лагерной зоны. Важнейший из сук. Лагерный аристократ.
КОНДЮК	Кондуктор на железной дороге.
КОНДЫБА, КОВАЛЬ	Хромой, одноногий.
КОПЫТО	Нога. Часто презрительный в смысле глупый. В этом значении также фанера, олень, сохатый.
КУРОЧИТЬ	Растаскивать по частям, грабить, уносить содержимое.

Л

ЛАПА	Взятка. Лапочник — взяточник.
ЛЕПИЛО	Медработник. Санлепило — старший врач, начальник санчасти. Лепушок — младший врач. Лепком — санитар, фельдшер (не лекпом, а лепком).
ЛЕПЕНЬ	Он же лепеха, лепня. Костюм.

ЛЕПИТЬ	Придумывать, привирать. Лепить от фонаря — нести явную ложь. Но не просто нудно и уныло врать, а стройно сочинять. Обязателен элемент убедительности, временами вдохновенной увлеченности собственным враньем.
ЛИПА	Фальшь, подделка, обман. Примерно то же, что и туфта.
ЛИТЕРКА	Он же шестерня. Холуй.
ЛИНЯТЬ	Уходить, скрываться. Линяй! — уходи. Эквивалент — смы-ваться.
ЛИТЕРИТЬ	Иначе — шестерить. Прислуживать, быть на побегушках. Холуйствовать.
ЛОБ	Он же хобот и хоботяга. Здоровый, физически крепкий, нестарый человек. Из тех, кто умеет использовать свою силу для безделья. Не очень уважаемая, но сильная фигура всякого лагеря. Что до натурального лба, то он у лбов невысокий и неширокий: с поясок.
ЛОЖША	Плохая одежда. Локш — вообще дрянцо.
ЛОПАТА, ЛОПАТНИК,	Бумажник.
ЛОПАТЬ	
ЛОПАРЯ	Они же прохаря. Сапоги.
ЛОРД	Важный заключенный. Или придурок высокого чина или ответственный работник на лагерном производстве, в общем, тот, с кем нарядчикам и комендантам приходится считаться. Правда, пониже и пожиже зубра — тот тоже лорд, но крупней.
ЛОПАВЫЙ	Милиционер, сыщик.
ЛОП'ВА	Она же оторва. Блядь, но плохая. Женщина хуже некуда.
М	
МАЙДАН	Поезд.
МАЙДАННИК	Поездной вор.
МАЛИНА	Воровской притон.
МАЛЬЧИК	Ключ.
МАНТО	Всякое женское пальто.
МАНДЯЧИТЬ	Резать одежду, раскраивать на элементы.
МАР'ЯЖИТЬ	Завлекать мужчину, чтобы обмануть. Марьяжный фрайер — поддающийся обману. Подмарьяжить фрайера — подманить и оплести глупца. Марьяж — живое согласие на близость.
МАР'ЯНА	Женщина. Без особых уточнений — всякая.
МАНДРО	Хлеб.
МАПРОЧКА	Носовой платок.
МАСЛИНА	Пуля.
МАСТЫРКА	Фальшивая рана или ложное заболевание, дающее возможность уклониться от работы. Также — небольшое реальное ранение или легкая хворь, специально приобретенные для той же цели. В лагере на приобретение мастырок иногда затрачивают больше труда, чем стало бы на работу, от которой замастыриваются.
МАХЛЕВАТЬ	Обманывать.
МАЮДИЯ	Милиция.
МАЙТ	Он же мусор. Милиционер.
МА ДВЕЖОНОК	Несгораемый шкаф.
МА ДВЕДЬ	Сейф.
МА ДВЕЖАТНИК	Вор — взломщик сейфов и несгораемых шкафов.
МАХНАТКА	Женский половой орган.
МИЛИЦИЯ	Вообще всякая администрация, в том числе тюремная и лагерная. Но для разных должностей тюремной и лагерной администрации особые названия.
МОИКА	Она же письмо. Бритва.
МОКРУШНИК	Убийца, тот, кто идет на мокрое дело.
МОСКВИЧКА	Ватное полупальто с косыми карманами и воротником. Лагерный шик. Любимая одежда каптеров и комендантов.

МУЖ	Сожитель, который материально помогает своей подруге. Противоположное понятие — кот.
МУЖИК	Фрайер — работяга или черт-работяга. В слове чувствуется уважение, иногда даже — почтение: «Ну, он мужик!».
МУСОР	Он же мусорило, мусоронок, старший мусор — названия для милиционеров, дежурных и старших надзирателей.
Н	
НАДЫБАТЬ	Найти, нащупать. Надыбать слабинку — отыскать уязвимое место.
НА ПАРУ	Вдвоем.
НАРИСОВАТЬСЯ	Появиться, показаться.
НАЧИСТЯК	Полностью, до конца. Совершенно, начисто, намертво. Завалить начистяк — резать насмерть.
НАКРЫВАТЬСЯ	Кончатся. Накрылся мокрой — погиб, попал в безвыходное положение, все потерял.
НАРЯДЧИК	Человек, выводящий бригаду на работу. У каждой бригады свой нарядчик. Нарядчик — важный лагерный придурок, следующий после каптера и коменданта.
НАСУНУТЬ	Забрать, украсть. Увезти.
НЕПОНЯТНОЕ	Затруднительное положение. Неприятная неожиданность. Попал в непонятное — нахожусь в стесненных обстоятельствах. Философская категория, охватывающая девять десятых реального мира воров. Формула: чего не принимаю, того не понимаю. Гносеология неандертальского Канта, а в философии вору дальше неандертальцев не двинулись.
НЕ СВЕТИТ, НЕ ЛЕЧИТ НЕЧТЯК!	Не проходит, не удается.
НОГИ	Весьма многосодержательное междометие. Удовлетворение, одобрение, похвала, легкомысленное отрицание, возражение. Ближе всего: «Пустяки! Будет в порядке! Молодец! Не волнуйся, не расстраивайся! Вот еще скажешь!» Содержание определено интонацией.
	Пропуск для бесконвойного хождения вне лагерной зоны. Получил ноги — выдали пропуск.
О	
ОГОНЬ	Он же фитиль, доходной, доплывающий. Физически ослабевший человек, отощавший и обессиленный.
ОЛЕНЬ	Человек северной национальности — ненцы, долгане, якуты и пр. Также — дурак.
ОПЕРАЛ	Он же опер и кум. Оперуполномоченный.
ОТ ПУЗА	Досыта. По горло.
ОПУПЕТЬ	Изнеможение, страшная усталость. Ошеломление.
ОРЕЛ	Сердце. Дам пером в орла — ударю ножом в сердце.
ОТОРВА	Она же лярва и проблядь. Нехорошая женщина. Хуже простой бляди: махает без разбора.
ОБВИНИЛИ	Выгнали из воров за проступок, нарушающий «закон». То же, что землянули.
ОБЖАТЬ	Выклянчить, выпросить. Обжал на пару — выпросил два рубля.
ОБЩИЕ	Общие работы, то есть не требующие специальной выучки. Обычно тяжелый физический труд на лесоповале, копание земли, перенесение грузов и т. д.
ОТКАЗЧИК	Лагерник, объявивший, что не будет выходить на работу. Такие «сидят на гарантии».
ОТРИЦАЛОВКА	Сообщество воров на штрафнике. Группа людей, отказавшихся работать, но тем не менее выводимых на особо тяжелые работы под усиленным конвоем. Обитатели шизо — он же карцер, кандей, пердильник.

ОТТЯЖКА	Ругань с целью создать испуг. Брать на оттяжку — пугать.
ОТВАЛИВАТЬ	Уходить.
ОТВОД	Отвлечение внимания. Важная операция при воровстве. Сявкам ее не поручают.
ОТМАХИВАТЬСЯ	Обороняться.
ОТМАЗАТЬСЯ	Отыграться в карты.
ОЧКИ ЛОМАТЬ	Проверять документы. То же, что ксивы ломать.
П	
ПАДЛО	Что-то среднее между падалью и подлецом. Относится только к людям.
ПАЙКА	Она же птюшка, птенчик. Порция, паек. Ежедневная выдача. Чаще всего подразумевается хлеб.
ПАРАША	Деревянное ведро для оправки в тюремных камерах и бараках строгого лагерного режима. Слух, сплетня, недостоверное известие, чаще всего политического или общелагерного характера. Раньше называлось радиопарашей, потом просто парашей.
ПАХАН	Пожилой вор из авторитетных. Хранитель воровского закона. Мнение пахана спрашивают во всех сложных воровских проблемах. Часто, но не обязательно — руководитель шайки.
ПАХАТЬ	Работать. Слово уважительное, относится к любому виду работы, которая совершается не из-под палки. Где па-шешь? — где трудисься? Вообще к крестьянству воры относятся уважительней, чем к рабочим, особенно — горнякам. Совершить коитус.
ПЕРЕПИХНУТЬСЯ	Карцер.
ПЕРДИЛЬНИК	Нож.
ПЕРО	Орать с нажимом на психику. Давить, запугивать — в общем, оттягивать.
ПЕРЕТЬ	Лагерная или тюремная охрана. Преимущественно надзиратели, а не конвойные стрелки и не попки на вышках.
ПЕС, ПСЫ	Заостренный напильник.
ПИКА	Лезвие бритвы-самобрейки. Писать — резать.
ПИСКА	Карман для часов на поясе брюк. Но также синоним коитуса: поставить пистон.
ПИСТОН	Смертельно надоесть.
ПЕРЕЕСТЬ ПЛЕШЬ	Ручная тяжелая работа. Идти на пердячем пару — работать без механизмов.
ПЕРДЯЧИЙ ПАР	Она же мойка. Бритва.
ПИСЬМО	Полувор-полуфрайер. Вор без достаточного опыта, еще не в законе. Но и не загрязненный ссучиванием.
ПОЛУЦВЕТНОЙ	Ряд последовательных неудач.
ПОВОЛОКЛО	Попасться.
ПО КОЧКАМ	Удрать, убежать. Скрыться вовремя. Очень важная профессиональная операция. Умело и своевременно показать спину — воровская доблесть. Здесь свои понятия о рыцарстве.
ПОГОРЕТЬ	Поддеть, подзудеть, хитро настроить. Иногда — розыгрыш. Словечко давно стало общенародным, хотя Ушаков его не признает. Словари всегда отстают от языка.
ПОДОРВАТЬ	Весьма важный элемент лагерного бытия. Недаром говорили, что лагерь держится на трех китах: мате, блате и туфте.
ПОДНАЧКА,	Снова, повторно, вторично, опять. Вероятно, он попал по новой статье.
ПОДНАЧИТЬ	Однажды. Мотивировка, вероятно, от одной статьи. Вообще в воровское «по такому-то» становится народным слово-выражением: по-быстрому, по-легкому, по-малому, по-сильному, по-простому, по-доброму.
ПОКАЗУХА	
ПО НОВОЙ	
ПО ОДНОЙ	

ПОНЯЛ?	Чрезвычайно важное слово в воровской речи. Для мастеров подтекста оно было бы незаменимо, ибо всегда обозначает, что в речи подтекст — предупреждает слушателя об ином, тайном смысле фразы. Пошли, понял? — не просто пойдем, а пойдем с целью, которую нельзя открыто высказать — например, ограбить, убить, свести счеты. У молодого поколения воров «понял» стирается, понемногу превращаясь в паразитное слово, и интонации произнесения этого «понял» (совершенно разные: «Что ты, понял!» «Значит так, понял?») становятся невыразительными и однообразными.
ПОНТ	Группа людей. Сборище. Иногда — обман, надувательство, наглое очковтирательство. Например, типичное: «говорить с понтом». Но также: большой понт у магазина. Мне кажется, второе значение — фрайерское, а не воровское: лексика придурков.
ПОЛТИННИКИ	Глаза.
ПОПКА	Он же попугай. Охранник на вышке.
ПОПАСТЬ В НЕПО- НЯТНОЕ	Оказаться в затруднительном положении.
ПОМЫТЬ	Украсть.
ПОПХАТЬ, ПОШВОРИТЬ	Совершить коитус.
ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗЕЛЕНОМУ ПРОКУ- РОРУ	Вообще бежать из места заключения. Первоначальное значение, вероятно, было — бежать весной.
ПОПОЛОСКАТЬ ЗА ГРОШИ	Забрать у сонного.
ПОРОСЕНОК	Он же лопатник или лопата. Бумажник. В частности, туго набитый.
ПОРЯДОК	Все в порядке. Спокойствие. Согласен, заметано, нет возражений.
ПОРЧА, ПОРЧУШКА	Выгнанный из кодла, но не ссучившийся вор. Нарушивший воровской закон.
ПОРЧАК	Испорченный фрей, начавший воровать, подделываться под воров, вести их образ жизни. Оттенок презрения.
ПРАВИЛЬНО	Здорово, сильно, хорошо, верно. Правильный мужик — умелый, ловкий, удачливый. Правильно дал по харе — сильно ударил.
ПРАВИЛЬНЫЙ МУЖИК	Сильный, удачливый, дотошный, надежный.
ПРАВА КАЧАТЬ	Важное и частое занятие воров.
ПРЕСС	См. бандероль. Пачка денег.
ПРОМОТЧИК	Растратчик. Обычно — лагерник, спустивший или проигравший казенное обмундирование.
ПРИДУРОК	Лагерный служащий из заключенных.
ПРИДУРИТЬСЯ	Уклониться от общих тяжелых работ, выпроситься в «тепло». Настоящему вору придуриться можно только на технических или подсобных работах, не связанных с командованием над своим братом лагерником.
ПРОХОРЯ	Они же лопаря. Сапоги.
ПРИТЫРИТЬ	Заслонить, загородить. Спрятать что-либо.
ПРИПУХАТЬ	Сидеть на своем месте. Затаиться в укромном уголке.
ПРИХВАТИТЬ	Забрать.
ПРИШИТЬ БОРОДУ	Обмануть, обставить, ловко надуть.
ПРИШИТЬ ДЕЛО	Обвинить в поступке, в котором не повинен. Вообще пришить — связать с событием, к которому не имеешь отношения.
ПРОСТИТУТКА	По отношению к женщине и мужчине очень сильное ругательство. Оскорбление хуже любого мата — «ух ты, проститутка!» Для обозначения профессии почти не употребляется. Проститутка (без намерения ее оскорбить, а с деловым указанием на рабочую специальность) — шалашовка, бикса.

ПРОСТЯЧКА	Честная давалка. Блядь не из воровок. Не обязательно проститутка, но иногда и она, если работает и по душе, не только за плату.
ПРОХОДИТЬ ЗА СУХАРЯ	Получить срок за чужое дело.
ПУЛЬНУТЬ, ПОДВЕР- НУТЬ	Разок отдаться.
ПУЛЕМЕТ	Карты.
ПУСТИТЬ НА ЛУНУ	Расстрелять.
ПУСТИТЬ НАЛЕВО	Расстрелять. Также отправить обходным путем. Левак — специалист по обходным делам. Не вор, но и не черт чистой воды: оттенок презрения.

Р

РАБОТА	Квартира. Работа стоит — квартира на замке. Работу вывернул — обобрал квартиру.
РАБОТЯГА	Систематически работающий. Относится, главным образом, к работающим на тяжелых работах.
РАЗВОД	Священнодействие вывода рабочих бригад на производственные объекты. В солидном лагере каждый развод длится час-два, а иногда побольше — всех входящих и выходящих пересчитывают.
РАСКИДЫВАТЬ ЧЕРНУХУ	Врать. Забывать баки, задуривать мозги. Пускать по ложному следу, притворяться непонимающим.
РЕДИК	Дамская сумка.
РЕЗИНА	Не вещь, не материал, но действие, заключающееся в старательном бездействии. Длительное невыполнение обещания, обязательства, приказа. Тянуть резину — ничего не делать, сохраняя видимость дела. Работа должна иметь вид работы — точная формула резины.
РОГА	Телесно не существующая, но философски реальная часть тела, которой обладают все черти (см.) и которая характеризует только их. Черти и «упираются рогами» (протестуют и сопротивляются) и «шерудят рогами» (примерный эквивалент — раскидывать мозгами). Им по нужде свирепо грозят: «Смотри, посшибаю тебе рога!»
РОГАТКА	Корова.
РОМАН	Занимательный рассказ, устное повествование, реже — книга. Роман тискать — рассказывать увлекательную историю. Блатные хорошо слушают, но сами почти никогда не читают. Библиотека не их стихия. Это для Укус Помидорычей и Сидоров Поликарпычей (фрайеров).
РЫЖЬЕ, РЫЖАЯ РЫЖИК	Золото, золотая вещь.

С

САДИЛЬНИК	Посадка на поезд. Держать садильник — обирать во время посадки.
САМ ЗНАЕШЬ!	Весьма многозначительное восклицание, из категории тех же, что и «понял». Не просто «разъяснений не требуется», но с намеком на важные подспудные обстоятельства. Живущая с одним мужчиной. Уважительный оттенок.
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА	
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ МУЖЧИНА	Элемент уважения. Мало пьющий, мало лгущий, мало таскающийся по бабам и т. д.
СВЕТИТЬ	Удаваться. Посветило — удалось.
СВИСТЕТЬ	Разглагольствовать. Свист — болтовня, речь.
СДАТЬ	То же, что заложить. Предать, выдать.
СЕЛЕДКА	Галстук.
СЕРЬГА	Висячий замок.

СИДОР	Мешок.
СКАМЕЙКА	Лошадь.
СКОКАРЬ	Квартирный вор.
СКРИП	Корзина. Скрип с прицепом — корзина с чем-то к ней привязанным.
СКУЛА, СКУЛЕНКА	Внутренний нагрудный карман пиджака.
СКУРВИТЬСЯ	Испортиться. Только по отношению к человеку, а не к вещи. Также — отойти от воровского закона, но для этого чаще более резкое определение — ссучиться.
СОПАТКА	Нос.
СОХАТЫЙ	Он же фанера, копыто, олень. Глупый. Недотепа.
СРОК	Мера наказания. Также степень изношенности вещи. Третий срок — тряпье, первый срок — новое. Баба первого срока — девушка.
ССУЧИТЬСЯ	Перейти из чесноков в суки. Отказаться от выполнения воровского закона.
СТОЯТЬ НА СТРЕМЕ (ВАССЕРЕ)	Стоять на воровской страже во время «операции».
СТУК	Наблюдать за обстановкой, следить за чем-либо.
СТУКАЧ	Донос. Стучать — доносить.
СУКА	Доносчик.
	Антипод чесноку-чесноку. Вор, связавшийся с милицией и нарушивший воровской закон. Отличается от чесноков свободой поведения — занимает лагерные административные должности, может не уплачивать карточные долги и т. п. Вместе с тем суки стоят один за другого корпоративно. Когда нашего коменданта зарезали чесноки и мы подбежали к нему, он прохрипел на последнем издыхании: «Передайте нашим — умираю как честный сука!» Это я сам слышал.
СШИБИТЬ РОГА	Переломить, заставить делать по-своему, иногда просто напугать. Рога посшибаю — угроза, говоримая лишь фрайеру или иному черту.
СЯВКА	Молодой, неопытный вор.
Т	
ТЕМНИЛО	Человек, который числится на работе, но ничего не делает.
ТЕМНИТЬ	Врать, обманывать. Не исполнять обещанного.
ТЕМНОТА	Он же чернушник. Враль, свист, надувало.
ТИХАРЬ	Шпик в штатском.
ТОРБИТЬСЯ	Сидеть в изоляторе.
ТОРГОВАТЬ	Стараться украсть.
ТОРОПЛЮСЬ, АЖ	Плевал на твое предложение (или просьбу). Говорится не шевеля ни одним членом.
ВСПОТЕЛ	Изолятор, шизо, карцер.
ТОРБА	Три червонца.
ТРЕХМЕСТКА	Одежда.
ТЯПКИ	Штрафной паек за невыполнение нормы или отказ от работы.
ТРЕХСОТКА	Триста граммов хлеба.
ТОТ	Чрезвычайно многозначительное и распространенное слово в лагере. Утверждение высшей степени какого-либо свойства — удали, ухарства, ловкости, пронырливости, злости. Похвала, утверждение, усиление. Тот парень, понял? — человек высокого качества обсуждаемых свойств. Употребляется больше порчаками, а не блатными. Слово, лишь вводящее в воровской жаргон, а не из него.
ТРУХАТЬ	Онанировать.
ТУЗ	Он же гудок, задница.
ТУФТА	Подделка, обман. Заправлять туфту — обманывать. Туфтах — обманщик.
ТУШЕВАТЬ	То же, что тормозить. Отвлекать чем-нибудь внимание для облегчения кражи.

ТЯНУТЬ ФАЗАНА	То же, что тянуть резину, но с издевательством. Неисполнение обещания, обязательства, приказа.
У	
УГОЛ	Чемодан.
УПАСТЬ	Влюбиться. Я на тебя упал — я в тебя влюблен.
УРКА	Он же уркаган. Вор.
Ф	
ФАНЕРА	Дурак, глупый, недотепа.
ФАРМАЗОН	Крупное мошенничество. Фармазонщик — крупный мошенник.
ФАРТ	Счастье, удача. Фартовый — удачливый.
ФАРЫ	Они же шнифты, буркалы, гляделки, глаза.
ФЕНЯ	Воровской жаргон. По фене ботать — говорить по-блатному.
ФИКСЫ	Вставные зубы.
ФИЛОН	Уклоняющийся от работы, хотя формально не отказчик. То же, что кантовщик. Филонить — хитро увиливать от труда.
ФИТИЛЬ	Доходяга.
ФОМИЧ, ФОМКА	Железный предмет, годящийся для взлома замков. Ломик.
ФОФАН	То же, что фанера.
ФРАЙЕР, ФРЕЙ	Вольный, преимущественно из интеллигентов. Порода «чертей», отличающаяся особенной наивностью. Тот, кто самой природой приспособлен к тому, чтобы его бессовестно облапошивали.
ФРАЙЕРНУТЬСЯ	Допустить промах.
ФРЕЙ ШУРУЕТСЯ	Фрайер чувствует, что его обворовывают. Беспokoится.
Х	
ХАВАЛО, ХАВАЛЬНИК	Рот.
ХАВАТЬ	То же, что шевкать. Есть.
ХАЛЯВА	То же, что шалава. Воровка.
ХАЙЛО	Лицо, морда. Оттенок презрения и недоброжелательности.
ХАНА	Конец. Гибель.
ХАТА, ХАЗА	Квартира.
ХЕВРА	Компания людей, преимущественно «своих в доску».
ХИЛЯТЬ	Идти, брести. Прихилять — прийти, прибыть.
ХЛЕБАТЬ	Проходить по делу, сказываться в яви.
ХЛЕБАТЬ ЗА ЦИНКУ	Отвечать за своих, проходить по их делу.
ХОБОТ	Он же лоб, здоровяк. Иногда — шея.
ХОВИРА	Укромная квартира. Жилье для своих.
ХОЗЯИН	Большой начальник тюрьмы, лагеря и т. д. Для придурков и стукачей — оперуполномоченный.
Ч	
ЧАЙНИК	Трипер. Наварить чайник — заразиться гонореей.
ЧАЛИТЬСЯ	Сидеть в тюрьме.
ЧЕЛОВЕК	Авторитетный вор.
ЧЕРДАК	Наружный грудной карман.
ЧЕРНУШНИК	Враль. Свист.
ЧЕРТ	Всякий не принадлежащий к воровскому миру. В слове — оттенок недоброжелательства. Черт чистой воды — перво-званный фрайер, отличающийся наивной доверчивостью и непростительной порядочностью. Черт мутной воды — фрайер с склонностью к жуликоватости, комбинатор, ловкач и пр.
ЧЕСНОК, ЧЕСНЯК	Вор в законе.
ЧЕТВЕРТНАЯ	25 рублей.
ЧИФИРЬ	Исчерно крепкий чай.
ЧИФИРИТЬ	Накачиваться до одурения крепчайшего чайного пойла.

Ш

ШАЛАВА	Воровка.
ШАЛАШОВКА	Проститутка.
ШАЛМАН	Притон. Шумное сборище людей.
ШАРАШКА, ШАРАГА, ШАРАШКИНА	Место работы, где отлично можно не работать. Учреждение для энергичного ничегонеделания: мощная деятельность без полезной отдачи.
ФАБРИКА	У воров в законе страшное ругательство. Крепче любого мата. После выпада: «Ты, шахтер!» — надо бросаться в драку. Словами такое оскорбление не смыть. И тот, кто способен профессионально работать под землей, — ниже всех критериев.
ШАХТЕР	Шинель.
ШЕЛЬМА	Обмозговывать, размышлять, задумываться.
ШЕРУДИТЬ РОГАМИ	Быть в услужении, холуйствовать.
ШЕСТЕРИТЬ	Штрафной изолятор. Карцер.
ШИЗО	Ругаться.
ШИПЕТЬ	Слуга, холуй.
ШЕСТЕРКА	Брюки.
ШКЕРЫ, ШКАРЫ	Малыш.
ШКЕТ	Стрелять.
ШМАЛЯТЬ	Обыск. Шмонять — обыскивать.
ШМОН	Сопляк.
ШМУРИК	Окно, глаз.
ШНИФТ	Документ.
ШПАРГАЛКА	Вор, работающий по ночам. Также дневной грабитель из нахальных, дерзких. Чаще всего — грабитель. Штопорить — грабить.
ШТОПОРИЛО	Есть.
ШТЕВКАТЬ	Он же фрайер. Простак. Вообще — человек. Штымповатый — простоватый.
ШТЫМП	Медсестра.
ШТРУНДЯ	Гнать, отгонять.
ШУГАТЬ, ШУГАНУТЬ	Баланда.
ШУЛЮПКА	Смятение, суматоха, волнение в толпе.
ШУХЕР	

Ц

ЦЕНТР	Хорошая вещь.
ЦЕПУРА	Цепочка.
ЦИЛИНДРА	Шляпа.

Ю

ЮРЦЫ	Нары.
------	-------

ПРЕДЫСТОРИЯ ГИБЕЛИ ГУМИЛЕВА

В августовской книжке вашего журнала опубликована статья Р. Тименчика «По делу № 214224» — о таганцевском заговоре и участии в нем Николая Гумилева.

Я архивист, служу в отделе рукописей Публичной библиотеки в Ленинграде, и по долгу службы (а также, разумеется, вследствие собственных занятий) мне приходится вот уже двадцать лет беседовать с самыми выдающимися людьми — владельцами личных архивов, в приобретении которых заинтересован наш отдел. Память сохраняет множество устных историй. Одна из них впрямую касается темы статьи.

Это рассказ Лазаря Васильевича Бермана,* услышанный от него в Москве в 1974 году. Несколько слов о моем собеседнике. Он родился в 1894 году. Окончил в 1912 году Танишевское училище, был секретарем редакции журнала «Голос жизни» (1914—1915), секретарем «Союза поэтов» (1920—1921), где какое-то время председательствовал Н. С. Гумилев. Издал сборник стихов «Неступная свита» (1915), отмеченный Гумилевым, сборник «Новая Троя» (1921). Затем стихи печатать перестал, хотя писал их до последних дней своих (он умер в 1980 году).

Приведу одно его стихотворение (по словам Бермана, В. Шкловский,

которому оно было прочитано, легко узнал в герое стихотворения Сталина).

НАД КРУЧЕЙ

Ты, верно, всех переживешь,
Кому сегодня солнце светит.
Уже, возможно, на примете
Существование мое.

Тех, кто в огонь раздули искру,
С кем шел ты рядом с давних пор,
Ты отмечаешь сам по списку,
Им вынося свой приговор.

Тебе во всем послушный ныне,
Их Эрмий, под сирены вой,
В закрытой наглухо машине
К черте увозит роковой.

К другим, что дней не протянули,
Приходишь ты, как скорбный гость,
Стоять в почетном карауле,
За отворотом пряча трость.

В луче прожектора лазурном,
На Красной площади Москвы
Берешь с летучим прахом урну
Из рук растерянной вдовы.

И так редее лес могучий,
Что брезжит небо за листвою,
И только ты стоишь над кручей,
Свинцовой, полной молний тучи
Почти касаясь головой.

1939!>

В двадцатые годы Л. В. Берман работал в детских журналах, в начале тридцатых уехал в Москву, занимался педагогической деятельностью.

У меня сохранилась магнитофонная запись воспоминаний Бермана о своей литературной работе, Есенине, Клюеве, других литераторах, журналистах. Впоследствии часть этих материалов

* Один из составителей прекрасной книги В. Шкловского «Гамбургский счет» (М., 1990) А. Галушкин любезно подсказал мне очень интересные и полезные упоминания имени Бермана в текстах этой книги.

была переведена на бумагу. Но один сюжет автор не пожелал зафиксировать даже на магнитофонной ленте, а согласился лишь на устное повествование. Речь шла о Гумилеве. Опасения, мало понятные современному читателю, но факт остается фактом: в 1974 году 80-летний старик боится ostавлять свидетельство об определенных исторических эпизодах. Впрочем, препоны к публикации сохранялись вплоть до наших дней.

Одна из причин — происходившая в семидесятые годы подспудная борьба за возвращение Гумилева в литературу. Легализации его имени способствовали выступления по радио, а затем и в печати Н. Тихонова с воспоминаниями о запрещенном поэте и другие попытки прорвать «блокаду». В этих условиях раскрывать обстоятельства ареста и казни Гумилева считалось тактически неверным. Видимо, и сегодня эта тактика имеет своих сторонников. Не пора ли ее оспорить?

Другим препятствием к обнародованию сведений Бермана была их форма. До недавнего времени я ничем не мог подкрепить его рассказ. Но вот И. Одоевцева в интервью журналу «Вопросы литературы» (1988, № 12) обронила фразу, которая, на мой взгляд, убедительно подтверждает подлинность упомянутого рассказа. Оценивая степень участия Гумилева в конспиративной деятельности в 1921 году, накануне ареста, Одоевцева упомянула одного «малоизвестного поэта», которого Николай Степанович назвал ей в качестве лица, причастного к «делу». «Я, к сожалению, не помню его фамилии, — посоветовала Одоевцева, — только строку из его стихотворения почему-то запомнила...» Надо отдать должное памяти поэтессы — хотя она не всегда точна в своих мемуарах, но здесь почти безошибочно воспроизвела — и это по прошествии 70 лет! — строфу стихотворения Бермана из книги «Новая Троя» :

Увы, как многие похожи —
Чем отдаленней, тем больней —
На Мару смуглым цветом кожи
И кольцами своих кудрей.

Это интервью дает мне основание обнародовать свидетельство Л. В. Бермана. Предварительно замечу только, что Лазарь Васильевич от-

нюдь не хотел что-либо доказывать или открывать своими воспоминаниями. Это не более чем характеристика Гумилева как человека, совершенно неприспособленного для амплуа конспиратора.

Именно Берман зимой 1920—1921 годов ввел Гумилева в круг заговорщиков.

История такова. В 1914 году в Петрограде существовал 4-й запасной бронедивизион. Был зачислен в него и Берман (как, кстати, и В. Шкловский; здесь они подружились). Многих объединяла тогда принадлежность к эсеровской партии. Однако, со слов Бермана, в конце 1910-х годов он отошел от партийной работы, сохранив при этом дружеские отношения со своими единомышленниками. Зная об этом, Гумилев обратился в ту пору к Берману с просьбой устроить ему конспиративную встречу с эсерами, объясняя это желанием послужить России. После неудачных попыток отговорить Гумилева от опасного шага Берман согласился выполнить его просьбу. При этом он предупредил заговорщиков, что с ними желает познакомиться один из лучших поэтов России (фамилия не называлась) и просил использовать его лишь в случае крайней необходимости. На эту встречу, с удивлением рассказывал Берман, Гумилев явился в известной всему Петрограду оленьей дохе, чем тотчас себя дезавуировал.

О том, что Гумилева все-таки использовали в «деле», Берман узнал летом 1921 года, когда Николай Степанович обратился к нему за помощью: принес две пачки листовок разного содержания и предложил участвовать в их распространении. Одна из листовок начиналась антисемитским лозунгом. «Связной» возмутился: «Понимаете ли вы, что предлагаете мне, Лазарю Берману, распространять?» Гумилев с извинениями отменил свою просьбу. Вскоре последовал арест поэта, затем казнь.

По словам Бермана, через некоторое время ему передали просьбу Ахматовой помочь отыскать место казни: связи Лазаря Васильевича с автомобилистами-военными были известны, и надеялись, что он отыщет человека, который вел машину с приговоренными. Эти расчеты оправдались. Нашли шофера, он указал на так называемый Охтинский пустырь

(признанный сейчас наиболее вероятным местом казни район деревни Бернгардовка примыкает к Охте). От того же шофера узнали, что на месте казни выкапывалась большая яма, перебрасывалась доска-помост, на нее вставал расстреливаемый.

В 1923-м, в период подготовки процесса над эсерами, Берман был арестован. Тогдашний начальник Петроградской ЧК небезызвестный Агранов в течение нескольких продолжительных бесед с Берманом склонял его к тому, чтобы тот в качестве одного из близких друзей Шкловского и соратников по партии публично обратился к Виктору Борисовичу с просьбой вернуться в Россию — ничего, мол, с тобой не сделают (Шкловский, вовремя почувствовав нависшую опасность, весной 1922 года переправился за границу). Берман от сотрудничества с ЧК отказался, но в одной из бесед с Аграновым, пользуясь выгодным положением «нужного» человека, задал ему вопрос: «Почему так жестоко покарали участников «дела» Таганцева?» Последовал ответ: «В 1921 году 70 процентов петроградской интеллигенции были одной ногой в стане

врага. Мы должны были эту ногу ожечь!» Вот, собственно, и все.

Участившиеся в последнее время споры о степени серьезности или выдуманности «дела» Таганцева производят грустное впечатление. Люди, казалось бы, не консервативных взглядов с прежним маниакальным упорством исходят из догмы, что «хороший человек» Гумилев не мог ни в какой форме бороться с «хорошей» революцией, и поэтому надо во что бы то ни стало добиваться его реабилитации — доказать, что он чист и не виновен перед властью большевиков. Еще куда ни шло, если бы толковали об оправдании в постыдных обвинениях — убийстве, поджоге, но здесь. . . Гордиться следует, что Гумилев одним из первых среди писателей попытался бороться с властью большевиков, пусть в наивной форме, неумело, но — бороться! И еще: а захотел бы такой реабилитации от этой власти сам Гумилев?

Валерий САЖИН,
кандидат филологических наук,
г. Ленинград

КТО НАМИ РУКОВОДИТ?

От редакции. Предваряем это письмо небольшим примечанием. Социологическое исследование, проведенное на Украине, о котором рассказывает наш корреспондент, может быть поучительно для других регионов лишь с целым рядом оговорок; чтобы делать выводы более общего характера, необходимы исследования сопоставительные. Поэтому мы выбрали из довольно длинного письма те фрагменты, которые наводят на размышления, сформулированные в заголовке.

Социально-экономический и нравственно-политический паралич, сковавший в эпоху застоя общественное производство, обнажил катастрофическое положение в сфере управления. От того, насколько искренне наши управленцы всех рангов — от бригадира до премьер-министра — осознают неизбежность ее обновления, не в последнюю очередь зависит жизнеспособность перестройки.

На одном из крупнейших предприя-

тий шинной промышленности — производственном объединении «Белоцерковщина» — под «микроскопом» социологов и психологов оказался 301 руководитель основных и вспомогательных цехов и лабораторий: мастера, начальники цехов, участков, смен и лабораторий и их «замы», а также резервисты на эти посты из числа «итээровцев» и рабочих.

Отмечу сразу, что мы получили лишь 59 процентов ожидаемых оце-

нок качеств личности и работы руководителя. Это позволяет сделать вывод о невысокой заинтересованности, с одной стороны, трудовых коллективов, а с другой — самих хозяинов в таких измерениях. Есть даже своего рода синдром боязни оценивания своих руководителей. Вот его симптомы: страх быть уличенным в выражении (даже анонимном) правдивых оценок в адрес «шефа»; сознание правовой незащищенности свободомыслия и инакомыслия и неминуемости преследования и наказания за критику; разочарование в плодотворности общественного мнения как регулятора стиля управления и внутриколлективных взаимоотношений; преобладание установок на чинопочитание и мундиролепие как на универсальный способ самосохранения и защиты своего социально-профессионального статуса; соотнесение себя с морально опустошенными и разубедившимися в социальной справедливости «бичами» и т. д.

Мы составили морально-психологические характеристики на руководителей цехового ранга. Больше всего шансов стать лидерами имели здесь сангвиники и холерики (в отличие от меланхоликов и флегматиков). 43 процента цеховых управленцев — невротики, которых отличают физическое истощение и повышенная утомляемость, особая тревожность и эмоциональная неустойчивость, повышенная раздражительность и склонность к агрессивности, «болезненная» впечатлительность и чувствительность, низкое самоуважение. 80 процентов руководителей цехового уровня характеризуются активностью, 67 — постоянством поведения и 64 — рациональностью поведения. 81 процент управления — типичные экстраверты. (Экстравертированность — склад личности, характеризующийся преимущественной направленностью активности, установок, стремлений и интересов на внешний мир и окружающих людей. — Прим. ред.)

Парадокс: три управленца из четырех безвластны, психологически ориентированы на несамостоятельность и неуверенность в себе. Житейское правило «моя хата — с краю», оказывается, норма производственной морали не только «рядовых», но и «сержантов» и «капитанов» индустрии. (Кстати, всесоюзное соци-

ологическое исследование общественного сознания, выполненное в 1986—1989 гг., показывает, что 30—35 процентов работников во всех слоях населения не обладают установкой на добросовестное отношение к труду.)

При возникновении помех, препятствующих достижению цели, 61 процент командиров производства переключаются вину за конфликт на другого человека или обстоятельства, 29 процентов обвиняют себя, 10 процентов — ни себя, ни других, рассматривая любые коллизии как фатальные.

Ситуация конфликта воспроизводится в деловых играх. Группа управленцев, которые ищут помощи на стороне, поскольку на собственную способность разрешить конфликт не полагаются, составила 47 процентов! Мужчины тут реагируют иначе, чем женщины: женщины обращают внимание на характер препятствия, а мужчины стремятся к самозащите или к нахождению выхода из кризиса. При этом представительницы «слабого пола» склонны к самообвинению, а «рыцари» не скупятся на обвинения в чужой адрес.

Безответственность стала спутником хозяйственников на всех ступенях цеховой и заводской управленческой пирамиды. Весьма красноречивы высказывания участников опроса: «Компасом в нашем обществе и на производстве служит не ответственность, а умно понятый курс благотворительствующего руководителя»; «Ответственность чревата, как бумеранг, а служебное лавирование и заигрывание — не только залог, но и закон выживаемости и самосохранения». Отчасти эта позиция объясняется противоречием между требованиями, предъявляемыми к работнику (или же им — к себе самому), и реальными возможностями осуществить эти требования. Причем это постоянно подпитывается кризисным положением дел в промышленности.

Десятилетиями руководитель рассматривался у нас как «священная корова». Спорить с ним было невозможно. А отсюда девальвация ответственности у нижестоящих управленцев, чинопочитание, раболепие, служебное лавирование и беспринципность, особое социалистическое холлопство.

Показательно высказывание одного из кадровых рабочих. «Суть безответственности состоит в том, что мне постоянно мешают работать — между мной и трудовым процессом стоит посредник. Как и при царях, так и при наших советских режимах главным человеком был надсмотрщик, которого сегодня называют руководителем. Именно в этом корень зла, потому что армия надсмотрщиков и посредников делает труженика несвободным, а значит, и безответственным, а сам процесс труда — оскорбительным».

Насколько готовы руководители к работе в условиях самоуправления? Исследования, проведенные на шинных предприятиях Белой Церкви, Волжска, Нижнекамска, Омска, Ярославля, показали, что предложения рабочих и органов самоуправления практически не используются, «цеховые комбриги» рассматривают различные нововведения как посягательство на предоставленные им права. Для управленцев характерна и «заикленность» на работах сиюминутных и авральных. Слабо развита способность находить выход из необычных ситуаций, предугадывать ход событий, мало желания воспринимать новые идеи, идти на технически обоснованный риск и т. п.

Не всегда отвечают требованиям времени и «генералы индустрии». Так, (по материалам самофотографии рабочей недели) 9 из 17 директоров

шинных предприятий Белой Церкви, Бобруйска, Днепропетровска, Кирова, Красноярска, Ленинграда, Москвы и других городов уделяют повышению своего профессионального уровня и разработке стратегии развития своего завода (или объединения) в общей сложности не более 10 процентов рабочего времени. Пословица «не до жиру, быть бы живу» в ходу у всех командиров производства — от мастера до генерального директора.

Наконец, 39 процентов организаторов производства отказались от «измерения» своего должностного потенциала. Это тревожно, так как свидетельствует о деформированной морали, «стадности» мышления, исключаяющей самобытность, о боязни обнародования социологических результатов и ожидании негативного воздействия самооценки на служебную карьеру. Жернова административного диктата отучили руководителей цехового звена и от самовыдвижения — только 8 из 301 управленца рискнули хотя бы мысленно увидеть себя на новой ступени хозяйственной пирамиды. Львиная доля опрошенных не смогла преодолеть «барьера служебного страха» даже на бумаге! Добавлю, что невозможность самореализации и самовыдвижения — это у нас процветающая идеологическая установка.

В. Я. Беленький, социолог
(Днепропетровск)

ПАМЯТЬ И ПИСЬМА

АВТОБИОГРАФИЯ ВАСИЛИЯ ГРОССМАНА

Я родился в 1905 году, 12 декабря, в г. Бердичеве на Украине. Отец мой по профессии инженер-химик — в настоящее время живет в Москве, пенсионер. Мать моя учительница, преподавала иностранные языки — французский. Она погибла во время войны, в сентябре 1941 г.

Когда мне было 5 лет, я вместе с матерью поехал в Швейцарию, прожил там до семилетнего возраста, учился в начальной школе. В 1914 году я поступил в подготовительный класс Киевского реального училища 1-го общества преподавателей, но в годы гражданской войны уехал с матерью в г. Бердичев, где учился и работал пильщиком дров.

В 1921 году я поступил на подготовительный курс Киевского высшего института народного образования, где и проучился до 1923 г.

В 1923 г. я перевелся в 1-й Московский университет на химическое отделение физико-математического факультета. В 1929 г. я закончил университет. Во время учебы я пользовался материальной поддержкой родителей и частично зарабатывал сам: работал воспитателем в коммуне беспризорных детей, давал уроки. В 1929 году по окончании университета я поехал в Донбасс и поступил на работу в Макеевский научно-исследовательский институт по безопасности горных работ, заведовал химической (газоаналитической) лабораторией на шахте Смолянка II. В Донбассе я прожил по 1933 год — работал помимо Макеевского института в Донецком областном институте патологии и гигиены труда в химической лаборатории — старшим научным сотрудником, а затем ассистентом кафедры химии в Сталинском мединституте (гор. Сталино). За время пребывания в Донбассе мной были сделаны несколько научных работ, посвященных происхождению и выделению ядовитых газов в каменноугольной выработке. В 1933 г. я переехал в Москву и стал работать старшим химиком, а затем заведующим лабораторией и помощником главного инженера на карандашной фабрике им. Сакко и Ванцетти. На фабрике я проработал до 1934 г.

В апреле 1934 г. в «Литературной газете» был опубликован мой рассказ «В городе Бердичеве». В мае 1934 г. меня вызвал к себе А. М. Горький. Встреча с Горьким определила мое решение стать писателем. В том же году А. М. Горький опубликовал в альманахе «Год XVI» мою повесть «Глюккауф», посвященную шахтерам Донбасса. Я начал работать над книгой рассказов. С 1934 по 1936 год мною было выпущено две книги рассказов «Счастье» и «Четыре дня».

В 1936 году я начал работу над романом «Степан Кольчугин». Работа эта заняла у меня четыре с лишним года. Работу над романом я не довел до конца, этому помешала война. «Степан Кольчугин» печатался в Гослитиздате и в Детиздате, а также в «Роман-газете». В послевоенное время он также издавался дважды.

Летом 1941 г. я был мобилизован в армию, мне было присвоено звание интенданта 2-го ранга. Я был назначен на работу в редакцию «Красная звезда» на должность специального корреспондента. Жена моя с сыновьями выехала в эвакуацию в г. Чистополь. Там в 1942 г. погиб от взрыва снаряда во дворе военкомата старший сын Михаил.

Я был направлен на Центральный фронт в августе 1941 года. Проработал я в редакции «Красной звезды» на протяжении всей войны и был демобилизован осенью 1945 г. На протяжении войны мной было написано несколько рассказов, много очерков и одна повесть «Народ бессмертен». Почти все написанное мной публиковалось в газете «Красная звезда», а затем выходило в сборниках и отдельных изданиях: «Народ бессмертен», книга очерков «Сталинград», книжки «Треблинский ад», «Жизнь», «Советский офицер» и др.

В 1946 году вышла моя книга «Годы войны», где собраны произведения, написанные за время моей военной корреспондентской работы.

В 1947 году была опубликована в журнале «Знамя» моя пьеса «Если верить пифагорейцам», получившая отрицательную оценку в критике. Пьеса эта была написана мной до войны. В 1945 г. я взял на себя редактирование «Черной книги» о массовом убийстве евреев немецкими фашистами.

Моей основной, главной работой в послевоенное время было написание романа, посвященного Великой Отечественной войне. Работу эту я начал еще во время войны, посвятил ей 8 лет. В настоящее время первый том этой книги объемом 40 печатных листов сдан мной в редакцию журнала «Новый мир». Я продолжаю работу над вторым томом романа.
9 мая 1952 г.

Вас. Гроссман.

В автобиографии не упомянут ряд данных о писателе.

Ф. И. О.— Гроссман Иосиф Соломонович. Литературный псевдоним — Гроссман Василий Семенович. Время вступления в Союз советских писателей — 25.09.1937 года. Беспартийный. С августа 1941 года по август 1945 года служил специальным корреспондентом газеты «Красная звезда» на Центральном, Брянском, Юго-Западном, Калининском, Сталинградском, Воронежском, 1-м Белорусском, 1-м Украинском фронтах. Награжден орденами Красного Знамени и Красной Звезды, медалями «За оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».

Сведения взяты из личной карточки члена Союза советских писателей СССР.— Ф. Г.

Такова официальная история жизни Василия Гроссмана перед одним из очень важных ее порогов: публикацией в «Новом мире» первой части дилогии «Жизнь и судьба» — романа «За правое дело». О том, как в жизнь писателя вошли двое мальчишек, братья Миша и Федя, эта история умалчивает.

В нашу московскую коммунальную квартиру на Спасо-Песковском часто

ходил к моему отцу, писателю Борису Губеру, его близкий друг дядя Вася. Потом мама оказалась «плохой», ушла к дяде Васе. Это означало, что моя мать, Ольга Михайловна Губер, полюбила Василия Гроссмана, вышла за него замуж. Зимой мы видели маму в основном во сне: они с Гроссманом снимали угол и взяли нас с Мишей могли лишь летом на дачу (во Внуково, в Софрино), которую снимали.

В 1937 году отца вместе с его друзьями-писателями Иваном Катаевым и Борисом Зарудиным — арестовали. Затем, как жену «врага народа», арестовали маму, хотя она давно уже была замужем за другим. Так как мы с Мишей остались без отца и матери, нас собирались отдать в специальный детский дом. Этого не случилось, нас взял к себе Василий Гроссман. Он в эти дни лежал с тяжелым приступом астмы, но настоял, чтобы детей привезли к нему. Ночью машина НКВД перевезла нас со Спасо-Песковского на улицу Герцена, где незадолго перед этим Гроссман получил две комнаты в коммунальной квартире. Утром он пошел в Отдел народного образования и оформил опеку над нами. Свидетели той поры поймут высоту гражданского и человеческого подвига писателя, взявшего на себя

заботу о детях «врага народа». Для Василия Гроссмана мы были сыновьями, но он официально не усыновил только потому, что это выглядело бы нашим отречением от арестованного отца. Надежды на возвращение мамы практически не было: свои ошибки НКВД тогда обычно не исправлял. Об этом периоде жизни Василий Гроссман как-то сказал поэту Семену Липкину: «Ты не представляешь себе, какова жизнь мужичины, у которого на руках маленькие дети, а жена арестована». Однако в результате огромных усилий Гроссмана, писем во все инстанции, в том числе Ежову и Калинину, произошло чудо — маму выпустили.

До 1947 года мы жили на углу улицы Герцена и Брюсовского переулка в окруженном восьмизатажками двухэтажном доме, по преданию, построенном еще при Екатерине II. Жили в коммунальной квартире вместе с еще тремя семьями. Здесь Гроссманом был написан роман «Степан Кольчугин», многие рассказы, значительная часть первого романа-дилогии «Жизнь и судьба» — «За правое дело». Отсюда уезжал он на «виллисе» газеты «Красная звезда», военным корреспондентом которой был, на фронт. Здесь собирались его друзья-писатели и друзья юности, дружба с которыми сохранилась у Гроссмана на всю жизнь. (В предвоенные годы особенно близки были ему Роскин, Бобрышев, Богословский.)

Гроссман оказал определяющее влияние на мое нравственное и духовное развитие. В мои детские годы он часто, подолгу читал мне стихи, пел песни, хотя музыкальным слухом не обладал, рассказывал, тут же их придумывая, сказки, истории о своем детстве, юности.

Выбор стихов говорил о литературных пристрастиях Гроссмана. Больше всего он читал Некрасова, своего любимого поэта; Багрицкого — его «Думу про Опанаса» знал наизусть. Читал мне Гроссман стихи нетрадиционных в те годы поэтов Есенина, Бунина, Мандельштама, Ходасевича, Анненского.

Помню, часто я видел Гроссмана за чтением Л. Толстого, Достоевского (некоторые страницы «Дневника писателя» он читал с болью), но самым любимым, близким писате-

лем был для него Чехов. Томики издательства «Маркс» всегда лежали на его письменном столе, стоявшем слева, у окна. Очень любил он Гамсуна. Много раз перечитывал «Конармию» и «Одесские рассказы» Исаака Бабеля. Всегда с восторгом говорил о творчестве своего друга Андрея Платонова. (После смерти Платонова Гроссман возглавил комиссию по его литературному наследию. В статье «Добрый талант», опубликованной в газете «Литературная жизнь» 6.07.1960 г., Гроссман пишет: «Известность писателя не всегда находится в полном и справедливом соответствии с его действительным значением и истинным местом в литературе. Время — генеральный прокурор в делах о незаслуженной славе. Но время не враг истинным ценностям литературы, а разумный и добрый друг им, спокойный и верный их хранитель...») Слова Гроссмана подтвердились как в отношении Андрея Платонова, так и в отношении его самого.)

Из произведений о войне дороги были ему «Звезда» и «Двое в степи» Эммануила Казакевича, «В окопах Сталинграда» Виктора Некрасова.

Очень любил Твардовского, особенно «Переpravу» из «Василия Теркина» и «Я убит подо Ржевом». Из послевоенных поэтов выше всех ставил Бориса Слуцкого, многие его стихи знал наизусть, с огромным удовольствием читал и слушал стихи Семена Липкина.

То, что я пишу о литературных пристрастиях Василия Гроссмана, не является абсолютно точным, но точно отражает сохранившееся в моей памяти. Сохранилась и тетрадь с «немногими записями» Гроссмана. Вот некоторые из них.

XI.31 г.

К. Гамсун. «Люди одинаково склонны к добру и злу. Люди ничего не знают — они ползут, как черви, и когда они умирают, другие переползают через них. Жизнь! Смерть! Разве это можно понять?»

Все тот же Гамсун — ничего не понимающий и не желающий понять. Он любит природу, горы, ручьи, сосны, звезды, запах травы. Он любит женщину, ее глаза, ее тело, ее хитрость и ложь. Он любит челове-

ческие страсти. Убийца для него не преступник. И он ненавидит книжную мудрость, книжных людей. И, читая Гамсуна, нельзя ничего понять. Плохи ли его герои или хороши? Счастливы они или несчастны? Но книга его («Последняя слава». — Ф. Г.) пропитана чудесными запахами. Он писал ее при свете звезд, зелеными иглами сосен, вместо чернил опуская эти иглы в черную воду ночного озера.

«Поступки людей просты, они так просты, люди похожи на больших детей». Вересаев. «Мелкие рассказы о смерти». Мысль их, в общем, такова — смерть нужная, разумный итог жизни. Кто преступил черту и живет, не подводя итоги, тот живет звериной жизнью, ненужной, бессмысленной и отвратительной. Смерть! Эти рассказы не очень искренни, они глубоко продуманы, мысль, легшая в основу их, пришла из мозга в душу, но все ж-таки не то. И в самой глубине души Вересаев ужасается смерти, он боится и не хочет ее. Он, как человек, делающий веселое и приветливое лицо перед неизбежной ложкой касторки.

Бомарше. «Безумный день, или Женитьба Фигаро».

Очевидно, люди 100 лет назад были умней. Или это столетнее время было огнем, на котором сгорел весь мусор, все кучи фальшивой дряни, ватных кукол, тряпок, дешевых злободневностей. Сохранился лишь благородный мрамор. (Может быть, через столетие из всех сотен пишущих будут знать Чехова, Франса, Роллана и говорить: «В начале 20-го века были лишь великие писатели».)

Станиславский. «Мой путь в искусстве». Художественный театр — не театр революции. Его приемы, его культура, его идея, его дух — все, весь он целиком войдут и лягут в фундамент нового театра, но сам он еще не новый театр.

Прав Станиславский. Наши новые агитпесни, агиттеатры, сюжеты на боевой лозунг, на передовицу из «Правды» — это все что угодно, это нужно, это полезно, но это не искусство. Я скажу больше. Это не нужно. Это вредно. Это бесполезно. Я видел, как гастролировали на Донбассе Театр Революции и студия МХАТ. Третье представление «Легенды о топоре» шло при почти

пустом зале, публика (доменщики, мартеровцы, бурильщики, забойщики, крепильщики, навальщики) мрачно зевали, слушая крики картинных выдуманных ударников. «Буза», «Трепотня» — был единодушный приговор.

31.111.35 г.

Чехова, Толстого, Гоголя можно перечитывать. Их произведения подымаются до высот музыкального звучания. Чеховский рассказ, как шопеновский ноктюрн, можно слушать десятки раз, что-то общее между большой литературой и музыкой. Должно быть, там наверху искусство едино в каких-то основных принципах своих.

Наши писатели всем восхищаются. Они интуисты. Пора подойти к действительности и с точки зрения комиссии партконтроля. Горький так серьезно относится к литературе и предъявляет к ней столько солидных и чопорных требований, что он подобен больной ревматизмом старушке, которая забыла, что водкой можно не только натирать поясницу, но и пить ее стопочками.

1944 г.

«Единственное, практически возможное освобождение Германии должно стаять на точке зрения той теории, которая объявляет человека высшим существом для человека». К. Маркс.

(На следующей странице приведена подробная схема цепной реакции ядерного распада. Надо сказать, что Гроссман глубоко интересовался развитием физики, читал Эйнштейна, Гейзенберга, Ферми, «Физику атомного ядра» Шпольского, «Что такое жизнь с точки зрения физики» Шрёдингера.)

Лукреций. «О природе вещей». «Вот почему наблюдать надлежит человека В бедах и грозной нужде и тогда убедиться каков он. Ибо ведь только тогда из глубин раздается сердечных Истинный голос, личина срывается, суть остается».

Кн. 3, стр. 56—60
авг. 1949 г.

Плутарх. «... Но лакедемоняне, считающие главным признаком хорошего поступка пользу, приносимую отечеству, не признают и не знают ничего справедливого кроме того, что, по их мнению, увеличивает мощь Спарты...»

Перикл, умирая, говорил друзьям: «... Он удивляется их словам: они хвалят его и вспоминают о том, честь чего принадлежит в равной мере и ему, и судьбе, и что досталось уже многим стратегам, но о самом прекрасном они ничего не говорят. „Ведь из-за меня,— сказал он,— никто из афинян не облачился в траур...“»

... В 1938 году мама поменяла комнату на Спасо-Песковском на квартиру в деревянном двухэтажном доме в Лианозово. Здесь мы проводили лето, зимой приезжали туда кататься на лыжах. Своими тяжелыми переживаниями, своими страхами родители с нами не делились. Поэтому московские и лианозовские предвоенные годы вспоминались потом как самый светлый период жизни. Тем же кажущимся, довоенным спокойствием наполнены письма Гроссмана из плавания на пароходе с Василием Бобрышевым, Колдуновым и отцом — Семеном Осиповичем Гроссманом.

«... Путешествие наше идет приятно. Мы повторим его с тобой в будущем году. Прекрасна Кама: куда лучше Волги. Волга, как старуха толстая в корсетах: строят на ней плотины, обмелела, а Кама, могучая, полноводная, мрачная, среди гористых красных берегов, поросших осиною и елью. Сейчас едем по Белой, тоже прелестна по-своему: пустынная, мягкая, действительно белая вода, извивается, петлит, по песчаным отмелям много птицы... Спутники наши очень хороши — особенно Вася, вообще после ялтинской мелкотравчатой шпаны не нарадуюсь, что и среди нашего брата есть умные, скромные и по-настоящему хорошие люди... Работаю много, больше, чем в Москве». 17.07.1940 г.

Перед войной Гроссман был полным, солидным, ходил с палкой, выглядел старше своих 35 лет. Соседские девушки называли его дядькой, хотя по своему возрасту он вполне подходил им в поклонники. Когда



Василий Гроссман — фронтовой корреспондент газеты «Красная звезда» [осень 1943 г.]

началась война и он стал фронтовым военным корреспондентом газеты «Красная звезда», Гроссман помолодел, похудел, одышка и прочие хвори оставили его.

«... О себе расскажу — я в последние два месяца почти в постоянных разъездах. Иногда за день видишь столько, сколько не увидишь в другое время за 10 лет. Стал теперь худым, взвешивался в бане, оказывается вешу 74 кило, а помнишь мой жуткий вес год тому назад — 91. Сердцу теперь лучше совсем стало — после этой поездки чувствую себя совсем хорошо... Стал я теперь опытным фронтовиком — мгновенно по звуку различаю, где что происходит, — огневой ли налет, рвутся ли мины или снаряды, чьи пулеметы стреляют, отчего дым, да почему пламя и пр. и пр.». 25.02.1942 г.

В июле 1941 года нас с Мишей и другими детьми писателей отправили в пионерлагерь в Берсуте на Каме, откуда к сентябрю перевезли в интернат Литфонда, созданный в Чистополе. Туда к нам приехала мама. Предлагаю вниманию читателей отрывки из нескольких от большого количества писем на фронт Василию

Гроссману и писем писателя с фронта, полученных и отправленных за полтора года нашего пребывания в Чистополе. Надо сказать, что Василий Гроссман и мама — Ольга Михайловна Губер-Гроссман — сохраняли полученные друг от друга письма, их сохранилось сотни, как военных, так и послевоенных.

Итак, письма, отправленные на фронт Гроссману.

«... 12 октября было шестилетие наше, я в тот день была в колхозе, послала тебе большое письмо... Жены, у которых здесь мужья, а теперь таких много, пользуются различными благами — например, керосин они получают по списку для творческой работы своих мужей, а жена Твардовского просила хотя бы $\frac{1}{2}$ литра ночью подогревать ребенку молоко — ей отказали, т. к. нет у нее здесь мужа (Твардовский в это время был на фронте.— Ф. Г.). И все так...» 31.10.1941 г.

«Васенька, солнышко мое светлое! Как я была счастлива получить от тебя открытку от 2 февраля. Я так мучалась, не зная ничего о тебе. Последнее письмо привез Твардовский». 19.02.1942 г.

«Уже пятый месяц как не вижу тебя. Все мысли мои с тобой, а живу я как-то сама не знаю как, как автомат... Целую тебя крепко. Твоя Люся». 16.03.1942 г.

«Дорогой Василий Семенович!.. Мы здесь живем, тоскуем, мечтаем о разгроме Гитлера... Я учусь на курсах шоферов, мечтаю скоро их кончить и работать... Миша». 25.03.1942 г. «... Мама вам, наверное, писала, что я поступил работать в банке шофером. Работать очень хорошо: 9 часов в день с 8 утра до 12 и с 3-х до 7-ми. Иногда бывает, что работаю больше. Получаю на руки 400 рублей. Все время мечтаю, как я буду ездить на «эмочке» по Москве. Крепко целую. Ваш Миша». 17.06.1942 г.

В августе 1942 года Миша погиб во дворе военкомата, на занятиях Всеобуча при взрыве снаряда. Погибло еще шестнадцать его сверстников. Могилу на Чистопольском кладбище Мише копал Борис Пастернак, как верующий человек он проследил, чтобы похороны шли по православному обряду. Мама за эти

дни так похудела, что при росте 162 см весила 44 кг. На похоронах одна женщина сказала: «Бедный мальчик, нету у него мамы, хоронит сестра».

«Васенька, родной мой... Игорь, он часто ходит ко мне, говорит, что погибли лучшие мальчики и оба отличника класса — Миша и Михайлов. 12 октября кончился седьмой, страшный год нашей с тобой жизни. Может, восьмой будет легче, да может ли быть мне когда-нибудь легче? Ведь Миши нет...» 8.10.1942 г.

«Пошла неделю назад работать в интернат, но если бы ты только знал, каким мучением оказалось мое пребывание в интернате, так тяжело видеть мальчиков в возрасте Миши, которые едят, пьют, ходят, смеются, а Миши нет... Если бы я могла быть с тобой на фронте! Все время думаю о Мише. Очень много плачу, трудно сдерживаться. По утрам просыпаюсь и смотрю на его кровать, может, это страшный сон, может быть, он жив, но кровать пуста, и жизнь моя страшна». 25.10.1942 г.

«Васенька, родной мой! Опять о тебе ничего не знаю, где ты, т. к. Твардовский не мог толком сказать, куда поехал ты... Вернешься ли ты к моему приезду в Москву? ... На душе у меня очень тяжело. Мы уезжаем, а Миша, который так рвался в Москву, так ненавидел Чистополь — остается здесь навсегда... Однако в Москве радуется меня, что там, может, буду видеть тебя чаще... Целую тебя. Твоя Люся». 3.04.1943 г.

Письма в Чистополь с фронта

«Дорогая Люсенька... Вижу много интересного, постоянно меняю свое жительство — такова наша фронтовая жизнь. Пишешь ли мне? Пока писал тебе, с балки землянки нашей капнула на открытку смола... Ты поглядывай в «Красную звезду». Раза 2—3 в месяц появляются там мои заметки — это тебе будет добавочный привет от меня... Твой Вася». 16.09.1941 г.

«... Народ меня окружает милый. Здесь, кстати, Твардовский. Хороший он парень. Передай его жене, что глядит он превосходно и вообще в полном порядке. Здесь же Долматовский — такой же как был — «Утроба крокодила ему не повреди-

ла»... Вернулся 3 дня назад с фронта, теперь пишу. Насмотрелся много. Теперь все иначе, чем летом. Дороги, степь в разбитых немецких машинах, брошенных пушках, валяются сотни немецких трупов, каски, оружие. Мы наступаем! Моя радость, все хорошо, плохо лишь, что тоскую по тебе и беспокоюсь о твоём здоровье... Родная моя, целую тебя, люблю тебя, думаю о тебе. Твой Вася. Ребята поцелуй». 20.12.1941 г.

«Милая Люсенька, вот и встретили мы Новый год — ты в Чистополе, а я на фронте... Горизонт перед нами проясняется, чувство уверенности, силы владеет армией и каждый день близит победу...» 1.01.1942 г.

«... Довольно часто печатают меня, и редактор ко мне подобрел... Вчера узнали подробности о смерти Гайдара. Он погиб в бою, сражался с необыкновенным мужеством — старые фронтовики прямо с благоговением и восторгом рассказывали об его удивительных подвигах... Помнишь, Люсенька, Гайдара? Нашу прогулку с ним в Учкожское ущелье, переправу через ручей? Милый и трудный Гайдар. Где друзья наши — не могу поверить, что нет Васи Бобрышева — прочел его письмо последнее на днях, и сердце сжалось, неужели нет его, хорошего друга, самого чистого и прямого человека на земле. Часто вспоминаю о Роскине с болью душевной большой. Думаю о маме — еще не верю в ее гибель и не могу ее еще обнять душой. Эта боль по-настоящему придет позже...» 11.01.1942 г.

«... Родная моя, сколько чудесных людей на фронте — сколько здесь простоты, мужества, скромности, сколько чудесного гостеприимства, заботы друг о друге. Я даже не знал, что так много хороших людей на свете. А как воюют наши красноармейцы! Радостно было мне в шахтерской части, я гордился, пожалуй, первый раз в жизни — знают меня шахтеры, даже в лицо многие узнали по портрету на книжке. Если бы ты видела, как меня там кормили, полили, спать укладывали, сколько добрых слов сказали, ты бы тоже радовалась от души...» 5.02.1942 г.

«... Вчера прилетел из Сталинграда Костя Буковский — у меня был «прием», т. е. выпили, пели песни.

Буковский, Коломейцев, Твардовский, Кугель. Твардовский прочел прекрасную главу из новой поэмы своей («Василий Теркин». — Ф. Г.). Тронул всех до слез...» 22.07.42 г.

Письма шли очень плохо. Поэтому еще в письме от 14 сентября, через месяц после гибели Миши, Гроссман пишет «поцелуй ребят».

«... Родная и хорошая моя. Сегодня мне переслали с оказией твое письмо из Москвы. Оно мне принесло много горя — не нужно, Люсенька, падать духом и предаваться отчаянию. Кругом полно горя, сколько я его вижу. Вижу я матерей, у которых убиты на войне три сына и муж погиб, вижу жен, потерявших мужей и детей, вижу женщин, у которых во время бомбежки убивают маленьких детей, — и все эти люди крепятся, живут, работают, ждут победы, не теряют присутствия духа. А в каких тяжелых условиях живут они! Будь и ты крепка, моя радость, держись... ведь есть у тебя и я, и Федя, есть у тебя любовь и смысл жизни... Представили меня второй раз к ордену Красного Знамени, но эффекта пока нет, как и в первом случае... Взял у убитого бойца письмо, написанное детскими каракулями. Там такие слова в конце:

«Я без вас шипко скучаю. Приезжайте хоть один час на вас посмотреть. Пишу, а слезы градом льются. Приезжайте Тятя».

И меня до слез тронуло это письмо — и так больно было глядеть на этого убитого тятю. Много, много горя на свете, моя родная, пусть у тебя будет чувство, какое есть у меня, что легче переносить горе, деля его со всем нашим народом...» Сент. 1942 г.

«... Вот уже 4 дня, как я сижу на аэродроме и не могу улететь из-за отсутствия летной погоды... Я сильно нервничаю в ожидании самолета, хочется скорей доехать — во-первых, чем позже вылечу, тем позже вернусь, во-вторых — события грандиозные, и я уже прозевал Харьков, при взятии которого должен был быть... С фильмом моим (документальный фильм «Сталинградская битва». — Ф. Г.) уже всю работу кончил, писал уже тебе об этом. Фильм «ощумлен» страшной пальбой. Это не «Рембрандт», но интересно смот-

рится. Ты обязательно его посмотри... Очерки мои о Сталинграде пользуются большим успехом. Их издает Политиздат и «Совет. писатель», отдельными брошюрками издал Воениздат миллионным тиражом. Кроме того, их перепечатавали в Англии и в Америке многие газеты, а сейчас там же они выходят отдельными книгами. Будет для тебя работы в Москве, назначу тебя своим помощником по редакционно-издательской части... Виделся с Андреем Платоновым, писал тебе уже, что у них умер сын от туберкулеза, сгорел за 2 недели. Платонов сейчас от «Кр. звезды» поехал на фронт...» 17.02.1943 г.

«... Очень меня огорчила и обидела история с премией (комиссия по присуждению Сталинских премий за 1942 год единодушно решила присудить премию повести Василия Гроссмана «Народ бессмертен», однако Сталин вычеркнул фамилию Гроссмана из списков лауреатов. — Ф. Г.). Но ничего, уважением литературных кругов и читательских пользуюсь от этого не меньше. Я тебя прошу не огорчаться. Все это уже позади, а впереди настоящая работа, большая...» 25.03.1943 г.

В мае 1943 года мы с мамой на теплоходе вернулись в Москву. Читопольская переписка кончилась.

Когда Гроссман приезжал с фронта, у него за столом почти каждый день собирались гости. Часто бывали Твардовские, Платонов, Галкин, Кривицкие, пути с которым у Гроссмана после войны разошлись, корреспонденты «Красной звезды» Коломейцев, Буковский, Гехман. Если одновременно приходили Твардовский и Платонов, за столом много пели. Слух и голос были у Твардовского, Марии Александровны Платоновой, мамы. Гроссман и Платонов подпевали. Платонов особенно любил песню «Тансвааль, Трансвааль, страна моя...», когда ее пели, у него по щекам текли слезы. В исполнении Твардовского Гроссман впервые услышал песню, которая затем вошла в пьесу «Народ бессмертен», а затем и в роман «Жизнь и судьба»: «Машина в штопоре кружится, ревет, летит земле на грудь...»

Война принесла Василию Гроссману тяжелые утраты — погиб Миша, погибли в московском ополчении близкие друзья Бобрышев

и Роскин, погибли многие родственники, но самой страшной, самой тяжелой потерей была гибель матери Екатерины Савельевны.

Нежная, светлая любовь связывала Василия Семеновича Гроссмана с матерью, но они многие годы жили отдельно, мучительно переживая разлуку. Когда Екатерина Савельевна стала с трудом передвигаться («... Только бы нога не разболелась, хотя стараюсь ее щадить: на двух костылях передвигаюсь, чтоб не напирать на ногу...» 13.06.40), ученики приходили к ней домой: «... как раз ученик ушел, а другой не приходил еще — пропускают, чертенята; прочла спокойно твое письмо, апита mia, и даже отвечаю, пока никого нет...» 08.10.1940 г.

В декабре 1940 года Екатерина Савельевна пишет: «Дорогой сыночек, вот тебе и 35 годков стукнуло. А все живо в памяти от дня твоего рождения 905 г. и до сих пор, как будто день прошел. Что нам повторяться — жизнь как на ладони; а как много пережито, а не только прожито. Будь здоров, апита mia, талантлив, доволен своей работой (и чтоб читатели были довольны ею, и критики); со всеми близкими тебе будь благополучен... Отправила тебе посылочку... А посылочка была: 1) Серебряная чайная ложечка, что от тети Даси я получила; попадет тебе, как будешь чай пить — вспомнишь меня; пусть не пропадет — жалко будет, 2) Подстаканник, не серебряный, не бойся, я не тратилась много, но хороший — по-моему; и на письменный стол — тигренка... Вот и все, дытына. И всю мою любовь тебе посылаю. А засим целую тебя в глаза, лоб, волосы и в мордочку. Мама».

Надвигалась война. В сохранившемся письме, датированном 9.04.1941 г., Екатерина Савельевна пишет: «... Васенька, пришибло меня, что Сербию втянули в войну. Говорю тебе откровенно, мне очень жаль сербов, но еще больше я боюсь, чтобы нас не втянули; пуще всего боюсь войны, но верю в нашу мирную политику...»

Наступило 22 июня 1941 года. Екатерина Савельевна пишет сыну: «... Ночь прошла благополучно. Утром была тревога, но после был отбой. А дальше — никто ведь не знает...» 26.06.1941 г.

«... Письма ни одного. Очень беспокоюсь: в Москве ли ты, уехал ли куда. Я пишу часто, получаешь ли? И папе написала письмо. Живу теперь спокойнее, чем в первые дни,— привыкаешь. Встаю в 6 утра: в 7 час. слушаю утреннюю сводку по радио; и весь день — то радио, то газеты. Живу на вулкане...» 29.06.1941 г.

«... Дорогой сыночек, получила твою телеграмму. Придет кто-нибудь, буду тебе телеграфировать, хотя пишу ежедневно почти... Живу, как все, мой дорогой: дышу последними сводками, читаю газеты, сильно волнуясь иногда... Целую тебя, сыночек. Мама». 1.07.1941 г.

Через несколько дней в Бердичев ворвались фашисты: Екатерина Савельевна оказалась в гетто и вместе с другими его обитателями была расстреляна в сентябре 1941 года. Женщина, случайно спасаясь из бердичевского гетто, возможно так же, как Аля в романе «Жизнь и судьба», рассказывала, что первое время Екатерина Савельевна жила у доктора Вурварга, а потом перешла к Рубинчик, где жила до своего печального конца. За несколько дней до гибели Екатерина Савельевна читала с детьми Вурварга «Войну и мир» на французском языке. (Вспомним, что мать Штрума в «Жизни и судьбе» взяла с собой в гетто, вместе с письмами сына и фотографиями, томиком Пушкина, «Письма с моей мельницы» А. Доде и томик Мопассана на французском языке. В одном из своих писем Екатерина Савельевна упоминает собаку Тобика, описанную матерью Штрума в романе «Жизнь и судьба».)

Василий Гроссман не знал о судьбе матери, искал ее, обращался в Центральное справочное бюро, находившееся тогда в Бугуруслане. «На Ваш запрос Центральное справочное бюро сообщает, что сведения о местонахождении гр. Гроссман Е. С. еще не получены. Ваш запрос принят нами на контроль и по получении сведений адрес разыскиваемых Вами лиц сообщим дополнительно...» 7.04.1942 г.

О чувствах Василия Гроссмана нельзя сказать лучше его самого. Первая книга дилогии, роман «За правое дело»:

«... Виктор Павлович знал еще одно неизменное чувство. Оно освещало внутренний мир его. Где-то в глубине души постоянно ощущал он спокойный, грустный свет, сопутствующий ему всю жизнь — любовь матери» (Ч.1, гл. 32).

«... Ночью ему приснилось, что он вошел в какую-то комнату... подошел к креслу, еще, казалось, хранившему тепло сидевшего в нем недавно человека. Комната была пустой, видно жильцы внезапно ушли из нее среди ночи. Он долго смотрел на полусвесившийся с кресла платок — и вдруг понял, что в этом кресле спала его мать. Сейчас оно стояло пустым в пустой комнате» (Ч.1, гл. 36).

Как будет видно из дальнейшего, этот сон приснился самому Василию Гроссману на фронте в сентябре 1941 года. «... Мысль о матери, словно прочная корневая нить, выросла, включилась во все большие и малые события его жизни. Вероятно, так было и раньше, но раньше эта корневая нить, питавшая с детских лет его душу, была прозрачна, эластична, податлива, и он не замечал ее, а теперь он видел и ощущал ее постоянно, днем и ночью.

Теперь, когда не он впитывал в себя то, что давала ему материнская любовь, а отдавал все это в тоске и смятении, когда его душа уже не всасывала соль и влагу жизни, а отдавала их солью и влагой слез, он испытывал постоянную, непроходившую боль.

... Он угадывал ужас обреченных уничтожению беспомощных людей, согнанных за колючую проволоку гетто, когда его воображение дорисовывало картину последних минут Анны Семеновны в день массовой казни, о которой она догадывалась по рассказам людей, чудом уцелевших в соседних местечках, когда он с безжалостным упорством заставлял себя мерить страдание матери, стоящей в толпе женщин и детей над ямой перед дулом эсэсовских автоматов, ужасное по своей силе чувство охватывало его» (Ч. II, гл. 46).

Письмо: «Милая Люсенька, сегодня приехал на место. Вчера был в Киеве. Трудно передать, что чувствовал и пережил за несколько

часов, когда ездил по адресам родных и знакомых. Могилы и смерть. Сегодня еду в Бердичев. Товарищи уже побывали там, говорят, что город совершенно разорен, пусто, и что из многих тысяч, десятков тысяч живших там евреев уцелели лишь отдельные люди, может быть десяток людей.

Я не надеюсь застать маму живой, единственное, на что надеюсь, это на то, что хотя бы узнаю о последних днях ее жизни и о смерти ее . . . Родная моя, понял здесь, как дороги должны быть друг другу близкие люди, горсточка оставшихся в живых . . .» 1944 г.

В 1944 году Василий Гроссман узнал о гибели матери. Через 9 и 20 лет после расстрела Екатерины Савельевны фашистами, он пишет ей письма, доверяет бумаге свою неутихающую боль, свою тоску. Вот эти письма, которые я обнаружил в архиве моей матери после ее смерти 22 июня 1988 года.

«Дорогая мамочка, я узнал о твоей смерти зимой 1944 года. Приехал в Бердичев, вошел в дом, в котором ты жила и из которого ушли тетя Анюта, дядя Давид и Наташа, и понял, что тебя нет в живых. Но еще в сентябре 1941 года я чувствовал сердцем, что тебя нет. Ночью, на фронте я видел сон — вошел в комнату, ясно зная, что это твоя комната, и увидел пустое кресло, ясно зная, что ты в нем спала; свешивался с кресла платок, которым ты прикрывала ноги. Я смотрел на это пустое кресло долго, а когда проснулся, знал, что тебя уже нет на земле. Но я не знал, какой ужасной смертью умерла ты, об этом я узнал, приехав в Бердичев и спросив людей, знавших о массовой казни, происшедшей 15 сентября 1941 года. Я десятки раз, а может быть, сотни раз пытался представить себе, как ты умерла, как шла на смерть, старался представить человека, который убил тебя. Он был последним, кто тебя видел. Я знаю, что ты думала обо мне очень много все это время.

Теперь уже больше девяти лет, как я не пишу тебе писем, не рассказываю тебе о своей жизни, делах. И за эти девять лет накопилось столько в моей душе, что я решил написать тебе, рассказать и конечно

пожаловаться, так как никому по существу нет дела до моих печалей, только тебе одной было до них дело.

Я буду с тобой откровенен и расскажу тебе все так, как чувствую, но, может, это будет не вся правда обо мне, так как я ведь не чувствую только правду, а много, наверное, есть в моих чувствах ложного и пустого. Но прежде всего я хочу сказать тебе, что за эти девять лет я смог по-настоящему поверить, что люблю тебя — так как ни на йоту не уменьшилось мое чувство к тебе, я не забываю тебя, не успокаиваюсь, не утешаюсь, время не лечит меня. Я тебя сегодня ощущаю такой же живой, какой ты была в тот день, когда мы виделись с тобой в последний раз, и такой же, когда я маленьким мальчиком слушал твое чтение вслух. И боль моя такая же, как была в тот день, когда соседка, живущая на Училищной улице, мне сказала, что тебя нет уже и что нет надежды найти тебя среди живых. И я думаю, мне кажется, что моя любовь и это горе ужасное так уж не изменятся до дня моего конца». 1950 год.

«Дорогая моя, прошло 20 лет со дня твоей смерти. Я люблю тебя, я помню тебя каждый день своей жизни, и горе мое все эти 20 лет вместе со мной неотступно.

Я писал тебе 10 лет тому назад, и в моем сердце ты такая же, как была двадцать лет назад. И десять лет назад, когда я писал тебе свое первое после твоей смерти письмо, ты была такой же, как при жизни своей, — моей матерью во плоти и в сердце моем. Я — это ты, моя родная. И пока живу я — жива ты. А когда я умру, ты будешь жить в той книге, которую я посвятил тебе и судьба которой схожа с твоей судьбой.

За эти двадцать лет много людей, которые любили тебя, уже умерли, тебя уже нет в сердце папы, в сердце Нади, тети Лизы — их нет на земле.

И мне кажется, что моя любовь к тебе все больше, ответственной, потому что так мало живых сердец, в которых живешь ты. Я почти все время думал о тебе, работая последние десять лет, — эта моя работа посвящена моей любви, преданности людям, потому она и отдана тебе. Ты для меня человеческое и

твоя страшная судьба — это судьба человека в нечеловеческое время. Я всю жизнь хранил веру, что все мое хорошее, честное, доброе, моя любовь — это все от тебя. Все плохое, что есть во мне, не прощай мне, это не ты. Но ты любишь меня, мама моя, и со всем плохим, что есть во мне, любишь.

Сегодня, как уже долгие годы, я перечитывал несколько твоих писем ко мне, сохранившихся из тех сотен и сотен, полученных мною от тебя, перечитываю твои письма папе. И сегодня я снова плакал, читая твои письма. Я плакал, когда ты пишешь: «И еще, Зема, я считаю себя не долговечной, так и жду, что из-за угла подкрадется, а вдруг буду болеть тяжело и долго, что мой бедный мальчик будет делать со мною, сколько горя наберется».

Я плачу, когда ты, одинокая и считавшая единственным светом своим жизнь под одной крышей со мной, пишешь папе: «... мне кажется, здраво рассуждая, что если б у Васи оказалась лишняя площадь, то ты должен поселиться с ним. Я тебе повторяю, так как теперь-то мне не плохо. А о моей духовной жизни не беспокойся: я умею охранять свой внутренний мир от окружающего». Я плачу над письмами — потому что в них ты — твоя доброта, чистота, твоя горькая, горькая жизнь, твоя справедливость, благородство, твоя любовь ко мне, твоя забота о людях, твой чудный ум.

Я ничего не боюсь, потому что твоя любовь со мной и потому что моя любовь вечно с тобой». 1961 год.

На титульном листе рукописи романа «Жизнь и судьба» рукой Василия Гроссмана написано: «Моей матери Екатерине Савельевне Гроссман».

Передо мной лежат военные записные книжки (фронтовые дневники) Гроссмана, сбереженные мамой. Они написаны карандашом в блокнотах, на очень плохой, почти газетной бумаге, записи выцвели, часто написаны торпливо, мало-разборчиво. Огромен был труд мамы, когда она готовила записные книжки покойного мужа к публикации.

Привожу из них отдельные, небольшие отрывки.

«... 5 августа выезжаем на Цент-

ральный фронт в Гомель — политрук Трояновский, фотокор Кнорринг и я грешный... Редактор, бригадный комиссар Ортенберг, напутствовал нас, говорит, предстоит наступление. Первая наша встреча произошла в ГлавПУРе. Он побеседовал со мной и под конец сообщил мне, что знает меня как автора детских книг, что страшно меня удивило, я не знал этого. Когда мы прощались, я сказал ему: «До свидания, товарищ Баев». Он расхохотался: «Я не Баев, а Ортенберг». Ну что ж, мы поквитались, он принял меня за Клавдию Лукашевич, а я его за зав. отделом печати ПУРа. Друг друга не познаша.

Весь день пьянствовал, как и полагается новобранцу. Пришел папа, Кугель, Валя, Женя, Вероничка. Вероничка (моя двоюродная сестра.— Ф. Г.) смотрела на меня такими глазами, точно я Гастелло, растрогала меня. Всем семейством пели песни, вели грустные беседы. Настроение грустное, сосредоточенное, ночью лежал один и думал. О чем думал, о ком думал, было и о чем, и о ком подумать...»

«... Мне рассказывали, как после сожжения Минска слепые из инвалидного дома шли длинной цепью по шоссе, связанные полотенцами...»

«... Я думал, что видел отступление, но такого я не то что не видел, но и не представлял себе. Исход! Библия... Полеми гонят огромные стада овец и коров, дальше скрипят конные обозы, тысячи подвод... в них беженцы с Украины, еще дальше идут толпы пешеходов с мешками, узлами, чемоданами. Это не поток, не река, это медленное движение текущего океана, ширина этого движения сотни метров вправо и влево...»

«... Я зову нашу полуторку «Ноев ковчег» — сколько десятков людей мы уже вывели из потока, наступающего с запада!...»

«... Рассказы об окружении. Каждый приехавший любит рассказывать истории об окружении, все эти истории очень страшные...»

«Диалектика войны — умение скрыться, спасти жизнь и умение биться, отдать жизнь...»

«... Красноармеец после боя, лежа на траве, говорит сам себе: „Животные и растения борются за суще-

ствование, а люди за господство . . . »

« . . . Горящий Гомель. Выбежал человек и кричит: «Пожар!» Все сидят на мостовой и молча смотрят, он оглянулся и тоже сел — горел весь город . . . »

« . . . Заседание ЦК Белорусской компартии в лесу, на последнем клочке белорусской земли. Короткое, железное заседание. Вопросы решаются суровые, лишних слов нет . . . Диверсии, взрывы . . . »

« . . . Вспоминать занятые города, в которых когда-то побывал, так же, как вспоминать умерших друзей. Бесконечно грустно. Они кажутся странно далекими и в то же время близкими, и жизнь в них, как тот свет . . . »

« . . . Чувство перемежающейся опасности: сперва кажется — здесь опасно, а затем вспоминаешь это место, как свою московскую квартиру . . . »

« . . . Ночевал дома. Говорили с папой о самой тяжелой тревоге моей (о матери. — Ф. Г.), но об этом не писать, — это день и ночь в сердце. Жива ли? Нет! Я знаю, чувствую . . . »

« . . . Залиман. Ночь. Метель. Машины, пушки. Едут молча. На развилке сильный голос: «Эй, где дорога на Берлин?» Хохот . . . »

« . . . Трудность артиллерии: бой в селе — все перемешалось. Одна хата наша, другая их. Как тут использовать мощные огневые средства? . . . »

« . . . Русский человек на войне надевает на душу белую рубашку. Он умеет жить грешно, но умирает свято. На фронте у многих чистота помыслов и души . . . »

« . . . Терпение на фронте, безропотность к тягестям невообразимым, — это терпение сильных людей. Это терпение войска огромного, в нем и величие души народа . . . »

« . . . Я бывал в Ясной Поляне в тихие, мирные времена, когда все усилия работников музея были в том, чтобы создать ощущение, иллюзию жилого дома . . . И сразу же, когда, входя в дом, наделав на ноги шитые из тряпок туфли . . . чувствовал, что хозяин умер, что хозяйка умерла, что это не дом, не жилье, а мавзолей, склеп. И вот сейчас я почувствовал совсем по-иному, что это не музей, а жилой дом, что горе, вьюга, распахнувшая все двери России, выгоняющая людей из обжитых

домов на черные осенние дороги . . . что судьба эта не помиловала и дом Толстого, что и он пустился в тяжелый путь, под дождем и снегом, по не имеющей края и конца дороге, вместе со страной, со всем несчастным народом. Это горе, ворвавшееся в дом, сделало его сущим, живым, страждущим среди миллионов таких же сущих, живых, страждущих домов . . . Прощаясь, Софья Андреевна целует меня в лоб, и я целую ей руку — и заплакал . . . »

« Сталинград сгорел. Писать пришлось бы слишком много. Сталинград сгорел. Сгорел Сталинград . . . »

« В подворотне на груде вещей жители сгоревшего дома едят щи. Вальяется книжка «Униженные и оскорбленные». Капустянский сказал этим людям: «Вы тоже униженные и оскорбленные». Девушка: «Мы оскорбленные, но не униженные» . . . »

« Начальник штаба полковник Тарасов: „Танкисты боялись, что мы не пойдем за танками, а мы пошли и вырвались впереди танков . . . “ »

В одной из записных книжек (сталинградских) черновик письма главному редактору «Красной звезды» Д. И. Ортенбергу:

« Тов. Ортенберг, завтра предполагаю выехать в город — думал сесть писать большой очерк, но понял, что придется отложить писание и некоторое время посвятить собиранию городских материалов. Так как переправа теперь вещь довольно громоздкая, то путешествие сие займет у меня минимум неделю. Поэтому прошу не сердиться, если присылка работы задержится. В городе предполагаю беседовать с Чуйковым, командирами дивизий и бывать в передовых подразделениях . . . Если поездка моя в город сопряжется с какими-либо печальными неожиданностями — прошу помочь моей семье. Вас. Гроссман. »

Из фронтовых записных книжек выросли многие очерки Василия Гроссмана, диалогия «Жизнь и судьба». Например: « . . . У переправы ждут машин. Темно. Горят вдали пожары. Тяжело поднимается в гору подкрепление, переправившееся через Волгу. Мимо нас проходят двое. Слышу, боец говорит: «Легкари, торопятся жить . . . » Эта сцена описана в 44-й главе первой части романа «За правое дело», те же

слова говорит боец на переправе Крымову. Или: «Всю ночь лежал мертвый летчик на прекрасном снежном холме — был большой мороз, и звезды светили очень ярко. А на рассвете холм стал совершенно розовый, и летчик лежал на розовом холме . . .» В романе «Жизнь и судьба» это — описание гибели лейтенанта Викторова.

Имя Василия Гроссмана пользовалось во время войны огромной популярностью. Сталинградские очерки и «Народ бессмертен» вышли многочисленными изданиями почти на всех языках мира. Однако отношения с редакцией «Красной звезды» у писателя складывались непросто. Летом 1942 года, в период публикации в газете повести «Народ бессмертен», Гроссман пишет жене: «Ортенберг прочел повесть, вызвал меня ночью и, представ себе, даже обнял и расцеловал, наговорил кучу самых лестных слов и сказал, что будет печатать повесть без сокращений, всю, от первой до последней страницы . . .» «Я теперь в редакции самый нужный человек, редактор вызывает меня по 10 раз на день. Ночую там, так как корректура правится до 2—3 часов утра. Печатают по-божески, куда либеральней Ковнатор, без сокращений . . .» «Удивительно, что теперь, во время войны, в военной газете, с редактором — дивизионным комиссаром, мне оказалось легче, чем со всеми Ковнаторами и пр . . . Отношения с редактором у меня теперь очень хорошие — торчу у него в кабинете, он, прежде чем исправить слово, вызывает меня для согласования . . .»

Однако уже ко времени Сталинградской битвы отношения с редакцией изменились.

«Написал ругательное письмо редактору, не без интереса жду его ответа — написал о казенном отношении и чиновных нравах редакции . . .» 22.10.1942 г.

«Я работаю много. Ты, вероятно, видишь по газете. Должен тебе сказать, что если бы ты видела, как корежат и не только корежат, но и дописывают в редакции целые фразы к моим бедным сочинениям, то тебе бы их появление на свет доставляло бы, как и мне, больше огорчений, чем удовольствий. Редакция взяла себе буквально за правило

отрезать у очерка конец, вместо точек ставить запятые, вычеркивать те описания, которые мне особенно интересны, менять заглавия и вписывать фразы вроде: «Эта вера, любовь творили буквально чудеса» (эта «чужая» фраза особенно нравилась потом критикам.— Ф. Г.). Провалка эта делается в спешке ремесленными правщиками, и иногда я по нескольку раз перечитываю фразы, чтобы понять их смысл. Все это меня огорчает, так как работаю я в условиях весьма и весьма тяжелых и хотел бы, чтобы к моему труду относились бережливей и повнимательней . . .» 5.12.1942 г.

И еще несколько писем из Сталинграда в Чистополь.

«Моя милая Люсенька, только что вернулся из города, чтобы отписаться. Шел уже по льду. Много больших впечатлений принесла мне эта очередная прогулка. Представ себе, милая моя, над Волгой, на обрыве могила Юры Беньяша (племянник Гроссмана.— Ф. Г.), Вадиного сына. Я отыскал его командира полка, и он подробно рассказал о Юре. Говорил со слезами в голосе. Юра командовал батальоном, воевал, как герой — подбил со своей противотанковой ротой 16 вражеских танков, ходил в сумасшедшие атаки, все о нем говорят с восхищением. Он знал, что я здесь, и все пытался меня разыскать через людей из фронтовой редакции, писал мне письма, но ни одно так ко мне и не попало. Ну вот, я его разыскал. . . Люсенька, много, много прошло сейчас перед моими глазами, так много, что удивляешься, как это входит еще в душу, сердце, в мысль, в память. Кажется, что уже полон весь . . . Завтра сажусь писать длиннейший очерк. Люсенька, ты знаешь, меня радует, что в жизни у меня складывается так: когда работал в Донбассе, то уж работал на самой глубокой, на самой жаркой и самой газовой шахте — Смолянка II, а когда пришло время пойти на войну, то оказался я в Сталинграде — и я благодарю судьбу за это. Только здесь можно понять, ощутить, увидеть войну во всем ее величественном, трагическом размахе . . .» 25.12.1942 г.

«Пойми, теперь-то могу сказать тебе это, что у меня совсем не много шансов было вернуться из

Сталинграда, теперь это позади, вышел — цел, радуйся этому, отдай себе отчет в том, где я был и откуда вернулся живым...» 29.01.1943 г.

За Сталинград Гроссман был представлен к ордену Ленина, но получил Красную Звезду. Утешением для него было то, что среди награжденных было много знакомых ему фамилий, милых сердцу людей. Он был в хорошей компании. Помню, как зимой 1943 года он прилетел на несколько дней в Чистополь, и я случайно первым встретил его недалеко от нашего дома. Когда я бросился его поздравлять с наградой, он, неожиданно для меня, принял поздравления почти равнодушно.

В 1943 году Гроссман начал работу над первой книгой дилогии, тогда называвшейся «Сталинград». Работа продолжалась и после войны.

«Думаю, что это время, проведенное здесь, позволит сильно двинуть вперед мою работу, ведь для нее нужно много сил и упорства, как для колки сучковатых дров...» 9.06.1947 г.

«А так сижу дома за письменным столом — утром работаю над новыми главами, вечером над уже написанными. Федя и Наташа и Люба ложатся спать рано, а я обычно сижу до часу, до двух ночи, работаю...» 28.11.1948 г.

«Мои работы понемногу двигаются вперед — закончил новую главу, вчера начал вторую. Посмотрим, посмотрим, что дальше будет, — пока обстановка уж очень суровая...» 4.12.1948 г.

Законченный роман был передан в «Новый мир», руководимый тогда К. Симоновым. Однако после долгих проволочек, уже после верстки, роман журналом был отклонен. Но вскоре сменилось руководство (и редколлегия) «Нового мира», в журнал пришел А. Твардовский. Хотя на заседании редколлегии мнения разделились и Шолохов кричал: «Кому вы поручили писать о Сталинграде!», роман вышел в 7—11-м номерах в 1952 году.

Появление романа встречено восторженно. На обсуждении в Союзе писателей его сравнивают с «Войной и миром». Заголовки рецензий: «Рождение эпопеи», «Эпопея героического Сталинграда», «Бессмертный подвиг народа»... Стал ходить

провокационный рассказ о том, что якобы Гроссмана принял восхищенный Сталин и в конце разговора сказал: «Премию пополам». Услышав этот рассказ, Гроссман помрачнел.

Восторженно встретили роман и писатели. «Дорогой Василий Семенович! Только что кончил читать Ваше описание сталинградской бомбежки... прочитав страницы, посвященные страшному 23 августа, я не мог не написать Вам. Завтра минет ровно десять лет. И, может быть, это совпадение только что прочитанного с тем, что произошло десять лет тому назад в тот самый день, особенно как-то на меня подействовало — не знаю, но я с таким волнением читал эти страницы, с каким давно уже ничего не читал. Не знаю, были ли Вы в тот день в Сталинграде — очевидно, были, — но я в какой-то степени заново пережил этот день. Не могу сказать, чтоб это было приятное ощущение — вспоминать такие события, но сила изложенного Вами громадна. С нетерпением жду девятого номера... В. Некрасов». 22.08.1952 г.

«Несколько дней тому назад прочитал наконец 10-й номер и вот решил Вам написать... Появление Вашей вещи — событие, большое и радостное событие. Я уже забыл то время, когда я ждал выхода журнала. Последние четыре месяца я с нетерпением ждал выхода каждого нового номера «Нового мира». И не только я. Мои друзья буквально дерутся — кому раньше взять у меня последние книги журнала. До сих пор не встретил человека, который не радовался бы появлению Вашего романа. Гибель батальона сделана так здорово, что я не нахожу даже слов, чтобы передать все чувства, которые у меня возникли, когда я читал этот кусок. По своей силе, правдивости, суровости, простоте — это кусок, равного которому я не знаю во всей военной литературе. И не только этот кусок. И бомбежка, о которой я Вам уже писал, и детский дом, и гибель Толи, и встреча Березкина с женой, и немцы, и КП Чуйкова, и еще десятки и сотни деталей, которые и делают-то книгу, — так правдивы и искренни, что все время хочется их перечитывать... Вы написали хорошую, умную, честную (а как этого теперь

не хватает!) и талантливую книгу. Неужели после нее не поймут, что нельзя так писать, как мы теперь пишем? Неужели этого не поймут? . . . Выдвинули ли Вас на Сталинскую премию? Простите меня за такой вопрос — я прекрасно понимаю, что не только этим определяется качество книги, — но все-таки если Вы и на этот раз не получите премии (имеется в виду «Народ бессмертен».— Ф. Г.) — то значит на земле нет справедливости . . . Примите, дорогой Василий Семенович, самую большую и искреннюю благодарность от меня и моих товарищей — все они знают войну и по-настоящему любят литературу . . . Ваш В. Некрасов». 31.10.1952 г.

« . . . Ваша книга произвела на меня огромное и неизгладимое впечатление. Это — первая книга о войне, первая, настоящая, да и не только о войне, а и о многом другом — самом главном на земле. Дай бог Вам сил и здоровья завершить все до конца. Вы открыли многим запертую дверь, Вы написали правду . . . Это редкая книга, которую хочется иметь дома и которую многие из нас читали вслух и радовались, и плакали, и говорили слова, которые стыдно написать в письме . . . Ваш Ю. Герман». 18.12.1952 г.

«Даже профессиональной зависти нету, а только чистая радость от того, что вот оно написано, большое и настоящее о народе и войне. Ощущение такое, будто вся наша литература поднялась на ступень выше . . . Спасибо! Вера Кетлинская». 10.11.1952 г.

Огромное количество писем пришло как от писателей, так и, конечно, от читателей. Но 13 февраля 1953 года появляется в «Правде» уничтожающая статья М. Бубеннова «О романе Гроссмана „За правое дело“». Как по команде тон статей о романе меняется на сто восемьдесят градусов. В течение февраля в ведущих печатных изданиях появляются статьи «В кривом зеркале», «Корни ошибок», «На ложном пути», «Роман, искажающий образ советских людей». А 3 марта «Литературная газета» публикует постановление редколлегии «Нового мира», в котором указывается, что редколлегия считает себя обязанной извлечь все уроки из совершенной ею ошибки,

выразившейся в публикации романа «За правое дело», просит секретариат Союза советских писателей принять меры по укреплению состава редакционной коллегии «Нового мира».

В этот период читатель, подпись которого неразборчива, пишет: «Товарищ Гроссман, здравствуйте! Вчера с большим удовольствием прочел в «Правде» рецензию Бубеннова на ваш роман «За правое дело». Это заключение справедливо от начала до конца . . . Я хотел указать вам только одно. Как вы могли допустить такой факт. Как известно, в центре романа стоят семья Шапошниковых-Штрумов + еще Левинтон. Неужели вы всерьез думали, что удастся так легко убедить народ, что эти Штрумы, Левинтон были типичными семьями, героями этой исторической битвы (понимай — всей Вел. Отеч. войны). Вы были в Сталинграде и хорошо знаете, что Штрумов и Левинтонов там не было . . .»

Однако, к счастью, это письмо оказалось единственным.

Андрей Платонов на своем сборничке сказок «Финист ясный сокол» (других его произведений тогда не издавали) пишет: «В. С. Гроссману. Твой труд отечеству полезен, / За то народ к тебе любезен: / С надеждой на тебя глядит / Платонов-инвалид».

«Дорогой Василий Семенович! Я думаю, мне не надо объяснять Вам, как я ко всему этому отношусь. На душе омерзительно до тошноты. И почему не разрешаются сейчас дуэли, черт возьми! А книга все-таки есть! И продолжайте ее, ради всего святого! Верю в победу правого дела! Крепко жму руку и обнимаю. Ваш В. Некрасов». 17.02.1953 г.

«Дорогой Василий Семенович! Сердечно благодарю Вас за Ваши добрые слова и пожелания. Я и в самом деле стал сильно прихварывать и чуть не сдох этим летом. Сейчас мне несколько лучше, но вот выздороветь почти некуда. Для себя я почему-то не умею работать, а бригад и мелких препятствий у меня множество. Впрочем, ради спортивного интереса попытаюсь залатать мое здоровье, с тем чтобы еще раз пуститься в литературное плавание.

. . . Я давний ваш почитатель. Всегда с любовью следил за Вашей литературой. И с болью видел, как

нелепо и глупо подчас «критиковали» Вашу книгу «За правое дело». А роман этот поистине замечательный, и многие странички его — огромной, классической силы! Как это, право, хорошо, что у Вас хватило мужества выдержать все напасти. Дай бог Вам здоровья и дальнейших успехов. Ваш Мих. Зощенко. 13/января. 1955 г.»

Одновременно с публикацией романа в «Новом мире» Василий Гроссман заключил договор с Воениздатом, получил и прожил аванс. И вот в марте 1953 года он получает официальное письмо:

«Тов. Гроссману Василию Семеновичу

Ввиду того, что Ваше произведение «За правое дело» признано идейно порочным в своей основе и не может быть издано, прошу полученные Вами деньги вернуть в кассу издательства . . . не позднее 1 апреля с. г.

Начальник управления
генерал-майор Копылов»

«Полученные деньги» Василию Гроссману вернуть было нечем, и Воениздат подал иск в народный суд. Представителем издательства на заседании суда был писатель, когда-то бывший в семинаре молодых писателей у Гроссмана, первый роман которого был до этого опубликован при помощи Гроссмана. Так на суде встретились по обе стороны барьера учитель и ученик.

Однако после смерти Сталина климат в стране изменился. Народный судья сказал, что читал роман «За правое дело», считает его патристическим, и иск издательства был судом отклонен.

Травля романа Гроссмана началась после опубликования материалов о деле «врачей-убийц». Поэтому после прекращения этого дела мы считали, что пришла пора реабилитации романа. Но только на втором съезде писателей СССР А. Фадеев публично извинился перед Василием Гроссманом за несправедливую критику. Благодаря его активной поддержке роман «За правое дело» в 1954-м, а затем в 1955 и 1959 гг. выходит в том же Воениздате, тремя изданиями в «Советском писателе». В день своего пятидесятилетия, в 1955 году, Гроссман получил от Воениздата адрес, в котором есть такие слова: «. . . Военные читатели ценят Ваш

роман «За правое дело», в котором показан со всеми его думами и чаяниями советский народ, под руководством Коммунистической партии борющийся с врагами Советской Родины». Подписал адрес начальник управления военного издательства . . . генерал-майор Копылов.

Судьба первой книги дилогии была нелегкой, но не трагической . . .

На Таганке открывается новый театр. Его премьерой стала пьеса Игната Назарова «Народ бессмертен» по повести Гроссмана. Мы едем на первый спектакль. Зал полон, спектакль принимается хорошо, однако особой радости на лице Гроссмана нет, оно задумчиво . . . Едем обратно, Гроссман молчит. Дома отмечаем премьеру, выпиваем по рюмке, но чувство неудовлетворенности остается. Спектакль шел довольно долго, но, как многие инсценировки, оказался бледным слепком с оригинала.

Та же беда постигла фильм «Степан Кольчугин» по первой части романа. Думаю, если бы Еврейский театр поставил пьесу «Старый учитель», написанную по одноименному рассказу Гроссмана, подобного бы не случилось. Главную роль должен был играть великий актер Зускин. Но эта постановка не состоялась, театр был ликвидирован.

Война, жизнь после войны часто напоминали Гроссману о его национальности. Его мать и близкие погибли от фашистского геноцида, прошла кампания борьбы с «космополитами» — началось дело «врачей-убийц», сталкивался он и с проявлениями бытового антисемитизма.

С 1945 года Василий Гроссман возглавлял (вначале совместно с Эренбургом) работу над «Черной книгой» об убийствах фашистами евреев в годы войны. Помню, его кабинет нередко бывал завален фотографиями, на которых были расстрелянные и их убийцы, документами, свидетельствами очевидцев расправ. Одно из гетто было превращено в своеобразное государство за колючей проволокой с евреем-бургомистром, юденратом, («еврейской управой»), еврейми-полицейскими (капо) с повязками на рукавах и дубинками. На фотографиях были запечатлены заседания юденрата, работы, моменты, когда

капо дубинками наводят порядок. В гетто были даже свои деньги, образцы которых имелись. В конце концов и бургомистра, и членов юденрата, и капо постигла общая участь — они были уничтожены фашистами.

Однако, и я должен подчеркнуть это, Василий Гроссман был типичным русским интеллигентом, русским писателем в чеховском, короленковском смысле. Будучи настоящим, не квасным патриотом России, он был и настоящим интернационалистом. Чрезвычайно близко принимал он к сердцу трагедию народов, изгнанных сталинизмом из родных мест, глубоко сочувствовал немцам Поволжья.

Когда в 1948 году образовалось в Палестине Государство Израиль, Советский Союз был на его стороне в конфликте с арабскими странами. В газетах появлялись карикатуры на лидеров арабских стран, например изображение иорданского короля Абдуллы, вооруженного окровавленным ножом, в белом бурнусе с отпечатками окровавленных пальцев на нем. Подобные карикатуры вызывали у Гроссмана чувство безгласности. Когда же государственная политика изменилась, и теперь уже на карикатурах стали изображать оскандленные морды в касках со звездой Давида, отношение Гроссмана к подобным «произведениям» было не менее гадливым.

...Василий Гроссман продолжил работу над диологией-романом «Жизнь и судьба». В этот период он пишет: «Дорогая Люся, пишу тебе после совещания, которое закончилось лишь к 7 часам вечера... Совещание было интересным, выступали многие писатели — Федин, Бажан, Михалков, Эренбург, Суриков и др. Много говорили о Дудинцеве, Яшине. Имя Дудинцева все время склонялось, ругали его крепко. В заключение с большой речью выступил Хрущев. Он критиковал московскую писательскую организацию за настроения, бывшие на собраниях, хвалил Грибачева как человека, до конца преданного делу партии...» 13.05.1957 г.

«Настроение неважное у меня, да ты, вероятно, по газетам видишь, как крепко достается всем деятелям альманаха «Лит. Москва», а они ведь ничего такого плохого не делали.

Вчера Грибачева избрали в президиум Союза писателей. Я единственный голосовал против, но это ему, естественно, ничем не помешало. Вероятно, мне это помешает значительно больше, чем ему». 18.05.1957 г.

«Я работаю регулярно, но перспективы моей работы, как ты знаешь, более чем туманны. Мне, конечно, работу надо во что бы то ни стало довести до конца... Был я в Петропавловской крепости, заходил в камеру, в которой сидел перед казнью Андрей Желябов,— хочется мне о нем написать...» 25.02.1958 г.

«Я много работаю, чувствую, что работа всерьез движется к концу, а о том, что будет, когда закончу ее, думаю мало,— будет для этого достаточно времени. Все занимаюсь семейством Штрумов-Шапошниковых, делов с ними много, все отношения запутались, пришли всякие беды, в общем, не дай бог никому. Женя Шапошникова приехала в Москву — помнится, тебе говорил, в связи с бедой, которая стряслась с Крымовым. Работа меня увлекает...» 30.04.1958 г.

«Я много работаю, сильно продвинул вперед все штрумовские дела — продвинул в том смысле, что они совсем уж запутались...» 6.05.1958 г.

«Продолжаю работу, конец уже виден, да за концом этим, к сожалению, не видно ничего обнадеживающего. Кому из редакторов покажу я свою законченную работу? Часто теперь задумываюсь над этим. Не думаю только, когда работаю. Это и помогает работать...» 25.05.1958 г.

«Работаю, как писал тебе уже, много. Решил не заниматься правой 2-й части, а все усилия посвятить новым главам. Одну уже написал, теперь тружусь над второй. Вообще-то, не очень доволен написанным...» 12.03.1959 г.

«Я продолжаю много работать... Пора ведь в конце концов кончать книгу, а то я стану чем-то вроде вечного студента...» 19.03.1959 г.

«...подготовил всю 1-ю часть к сдаче на стилистов перепечатку. В первой части оказалось 460 страниц...» 30.04.1960 г.

«Моя работа идет успешно, задержка будет не за мной, а за машинистками...» 14.05.1960 г.

«Запустил вторую порцию в печать — машинистка. Сегодня говорил с редакционными людьми из «Знамени», все же думаю заключить с ними договор, деньги будут нужны...» 17.05.1960 г.

«Первая часть уже готова. Был в «Знамени» по поводу договора, у них нет денег, поэтому дело идет со скрипом, договор заключили по ставке ниже моей обычной...» 28.05.1960 г.

Осенью 1960 года Гроссман готовит рукопись «Жизни и судьбы» к сдаче в «Знамя». При этом он удаляет из романа наиболее опасные куски, и рукопись, оказавшаяся в журнале, далеко не полна.

«Рукопись сдал в редакцию, ее перепечатывают, потом я ее посмотрю после перепечатки...» 8.10.1960 г.

«Чтение рукописи несколько задержалось в связи с тем, что вся редколлегия (журнала) «Знамя» во главе с Кожевниковым выехала в разные города проводить кампанию по подписке на журнал. Поездка эта займет дней 6—7. Да мне спешка, как ты знаешь, совершенно не нужна...» 15.10.1960 г.

Действительно, спешить оказалось некуда. После прочтения и обсуждения романа редакция журнала обратилась в «соответствующие» органы, увы, нелитературные...

После рождения моей дочери нам с женой в квартире на Беговой, где мы жили с 1947 года, отдали большую комнату — кабинет писателя. Так как Василий Гроссман был вынужден теперь работать в проходной, то через Союз писателей ему предоставили комнату на Ломоносовском проспекте. Однако в основном Гроссман работал на Беговой. Здесь в письменном столе хранилась большая часть его рукописей.

В тот февральский день 1961 года была больна наша дочь, и моя жена, Ирина Станиславовна, находилась дома. Василий Гроссман работал в соседней комнате. Мама, редко отлучавшаяся надолго, в этот день как раз ушла. Около 12 часов раздался звонок в дверь. Ирина услышала, как дверь открывает Наталья Ивановна Даренская и мужские голоса спрашивают Василия Гроссмана. Почти сразу же Наталья Ивановна во-

шла к Ирине и сказала: «К нам пришли плохие люди». — «Какие люди?» — спросила Ирина и в первый момент подумала, что это воры или хулиганы. «Нет, — сказала Наталья Ивановна, — такие, какие приходили за Борисом Андреевичем». (Даренская, моя бывшая няня, по-прежнему жившая с нами, присутствовала в 1937 году при аресте моего отца — писателя Бориса Губера.)

Через несколько минут в комнату вошел невысокий мужчина в темном костюме и сказал, что они пришли изъять рукопись романа, предупредив, чтобы Ирина никому не рассказывала об этом. Потом спросил: «А что, у Гроссмана больное сердце? Сейчас ему плохо, дайте, пожалуйста, ему лекарство». Ирина вошла в кабинет, Василий Гроссман сидел в кресле у письменного стола. В комнате находились позвавший Ирину мужчина, второй сотрудник госбезопасности и двое понятых. Лица их Ирине были неизвестны, хотя в нашем небольшом поселке мы знали друг друга в лицо. Сотрудники госбезопасности вынимали из ящиков письменного стола рукописи и выносили на улицу в машину. Затем, после ухода понятых, старший из сотрудников сказал, что теперь они должны отвезти Гроссмана за другими экземплярами романа. Василий Семенович сидел молча, а Ирина, уже пережившая в 1949 году обыск и арест своего отца, очень разволновалась, стала наввно требовать у сотрудников госбезопасности гарантии, что Василия Гроссмана привезут обратно домой. Старший сказал: «Обещаю, что через час Гроссман вернется домой».

Часа через полтора он действительно вернулся и рассказал, что забрали все остальные экземпляры романа, а у машинисток забрали и копируку, использованную при перепечатке. Роман жизни Василия Гроссмана ушел от него, ушел не в печать, а, как тогда казалось, в небытие. Из протокола изъятия выяснилось, что ордер был выписан на адрес рабочей комнаты писателя — Ломоносовский проспект, и изъятие романа на Беговой улице не являлось законным.

Гроссман не смирился с конфискацией романа, через год он пишет письмо Н. С. Хрущеву, копию кото-

рого сохранил его друг поэт Семен Липкин.

«. . . Вот уже год, как книга изъята у меня. Вот уже год, как я, неотступно думая о трагической ее судьбе, ищу объяснения происшедшему. Может, объяснение в том, что книга моя субъективна?

Но ведь отпечаток личного, субъективного имеют все произведения литературы, если они не написаны рукой ремесленника. Книга, написанная писателем, не есть прямая иллюстрация к взглядам политических и революционных вождей. Соприкасаясь с этими взглядами, иногда совпадая с ними, книга всегда неизбежно выражает внутренний мир писателя, его чувства, близкие ему образы и не может не быть субъективной. Так всегда было. Литература не эхо, она говорит о жизни и о жизненной драме по-своему. . .

Я знаю, что книга моя несовершенна, что она не идет ни в какое сравнение с произведениями великих писателей прошлого. Но дело тут не в слабости моего таланта. Дело в праве писать правду, выстраданную и вызревшую на протяжении долгих лет жизни.

Почему же на мою книгу, которая, может быть, в какой-то мере отвечает на внутренние запросы советских людей, книгу, в которой нет лжи и клеветы, а есть правда, боль, любовь к людям, наложен запрет, почему она забрана у меня методами административного насилия, упрямана от меня и от людей, как преступный убийца?

Вот уже год, как я не знаю, цела ли моя книга, хранится ли она, может быть, она уничтожена, сожжена?

Если моя книга — ложь, пусть об этом будет сказано людям, которые хотят ее прочесть. Если книга моя клевета, пусть будет сказано об этом. Пусть советские люди, советские читатели, для которых я пишу 30 лет, судят, что правда и что ложь в моей книге.

Но читатель лишен возможности судить меня и мой труд судом, который страшней любого суда, — я имею в виду суд сердца, суд совести. Я хотел и хочу этого суда.

Мало того, что книга моя отвергнута в редакции «Знамя», мне было рекомендовано отвечать на вопросы читателей, что работу над рукописью

я не закончил еще, что работа эта затянется на долгое время. Иными словами, мне было предложено говорить неправду.

Мало того, когда моя рукопись была изъята, мне предложили дать подписку, что за разглашение факта изъятия рукописи я буду отвечать в уголовном порядке.

Методы, которыми все происшедшее с моей книгой хотят оставить в тайне, не есть методы борьбы с неправдой, с клеветой. Так с ложью не борются. Так борются против правды. . .

Я прошу Вас вернуть свободу моей книге, я прошу, чтобы о моей рукописи говорили и спорили со мной редакторы, а не сотрудники Комитета государственной безопасности. . .»

Через много месяцев после отправки письма Хрущеву, 23 июля 1962 года, Василия Гроссмана принял в ЦК КПСС Сулов. Сохранилась запись беседы с Суловым, сделанная по памяти Гроссманом. В частности, Сулов сказал: «Вы обратились с искренним письмом к Н. С. Хрущеву. Факт этот является положительным. В своем письме вы предлагаете опубликовать ваш роман «Жизнь и судьба». Ваш роман опубликован быть не может. . . Я не читал вашей книги, но я внимательно прочел многочисленные рецензии, отзывы, в которых немало цитат из вашего романа. Вот видите, сколько записок я сделал из этих рецензий и цитат. . . Все, читавшие вашу книгу, считают ее политически враждебной нам. Нет смысла давать ее на чтение писателям Федину, Леонову, Эренбургу и т. д. . . Напечатать вашу книгу невозможно, и она не будет напечатана. . . В вашей книге имеются прямые сопоставления нас и гитлеровского фашизма. . . В вашей книге положительно говорится о религии, о боге, о католицизме. В вашей книге взят под защиту Троцкий. . . вы знаете, какой большой вред принесла нам книга Пастернака. Для всех, читавших вашу книгу, для всех, знакомых с отзывами о ней, совершенно бесспорно, что вред от книги «Жизнь и судьба» был бы несравненно опасней для нас, чем «Доктор Живаго»».

. . . Гроссман не был, как пишут и говорят некоторые, мрачным, зам-

кнутым человеком, просто жизнь в последние годы редко давала ему поводы для веселья. Особенно мало поводов для радости давали Василию Гроссману годы после изъятия «Жизни и судьбы».

«Сегодня год, как я сдал рукопись в редакцию — печальная годовщина. Много мыслей она вызывает...» 6.10.1961 г.

«У меня бодрое, рабочее настроение, и меня это удивляет — откуда оно берется? Кажется, давно уж должны были опуститься руки, а они, глупые, тянутся к работе...» 6.10.1963 г.

Очень угнетал писателя своим молчанием телефон. Круг знакомых Василия Гроссмана все более сужался.

«Вчера был День Победы, сидел весь вечер дома, никто из фронтовых друзей не позвонил, стало мне грустно. Ну да ничего, и в прошлом году, и в позапрошлом тоже не звонили мне фронтовые друзья...» 10.05.1962 г.

Остались верны ему друзья юности Тумаркины, Ниточкины, Лободы, Кугель, Ф. А. Школьников, Н. М. Сочевец, буквально несколько человек из литературного мира: критик А. С. Берзер, литературовед М. Н. Черневич, конечно, поэт Семен Липкин, прозаики Виктор Некрасов и Борис Ямпольский. Некрасов, приезжая в Москву из Киева, где он жил, каждый раз встречался с Гроссманом. Однажды в Союзе писателей Некрасову сказали: «Что ж вы, Виктор Платонович, только сошли с поезда и сразу же отправились к Гроссману». (По-видимому, за нашей квартирой следили. В этой связи следует сказать, что незадолго перед арестом романа «Жизнь и судьба» к соседке, жившей над нами, днем позвонили молодые люди с чемоданчиками и соответствующими документами и попросили ее некоторое время побить вне квартиры. В этот день мама слышала наверху стук над комнатой, в которой был кабинет Гроссмана.)

Борис Ямпольский писал: «Дорогой Василий Семенович! Мне хочется сказать Вам, как я Вас люблю, как высоко ценю Ваше могучее перо, Ваше мужество всегда — в войну и не в войну. Я давно уже убежден, что сейчас в мире только несколько человек могут писать в Вашу силу.

Как и Андрею Платонову, судьба послала Вам все испытания, и Вы стоите рядом, прекрасные русские писатели». 9.06.1963 г.

Последние годы жизни Гроссман провел трудно. Много работы, физические и нервные силы отнимали трудности с публикацией рассказов, написанных в это время.

«Звонил Анне Самойловне (А. С. Берзер.— Ф. Г.), пока ничего нового нет с прохождением рассказа. А рассказ-то! Четыре неполные странички. Господи боже мой, и смех и грех...» 14.05.1960 г.

«Вчера пришла верстка рассказа, так странно и приятно было видеть этот рассказ, набранный типографским шрифтом. Я сказал Анне Самойловне, что у меня такое чувство, как у Робинзона, который ступил на асфальт (рассказ «Дорога» в «Новом мире».— Ф. Г.)...» 5.05.1962 г.

«С печатанием «Лося» в журнале «Москва», видимо, заминка: рассказ нравится, хотим печатать, но дайте еще рассказ, чтобы не было так грустно, очень уж тяжелый «Лось». Я обещал дать рассказ — дам «Осеннюю бурю»: посмотрим, может, и пройдут вместе...» 24.05.1962 г.

По материальным соображениям Василий Гроссман взялся за перевод по подстрочнику романа армянского писателя Р. Кочара «Дети большого дома».

«Позвонил мне Виктор Некрасов — пригласил на просмотр своего фильма, но я не пошел, не хотелось в клуб ходить. Работаю много. Сегодня закончил перевод первого тома — 890 страниц! Но впереди работа над вторым — в нем 730! Переводчик! И все же работа кое-чем серьезным хороша для меня — ритм ее, систематичность, каждодневные часы, отданные ей, — все это успокаивает и укрепляет...» 13.10.1961 г.

Связанная с переводом романа поездка в Армению позволила Гроссману узнать и горячо полюбить армянский народ. Теплом этой любви согрето одно из последних произведений писателя «Добро вам!». При жизни опубликовать его Гроссману не удалось.

«У меня с «армянскими записками» все тянется канитель, в 10-й номер («Нового мира».— Ф. Г.) уже не попадут, переносятся на следующий: у редакции все новые опасе-

ния и соображения...» 04.10.1962 г. Не согласившись с очередными купюрами, Гроссмана забрал «Добро вам!» из «Нового мира».

Одной из немногих радостей, оставшихся в последние годы жизни, были для Гроссмана письма, приходившие, к сожалению, далеко не ежедневно.

«Я старик. Очень люблю литературу, и именно потому, что я ее люблю, мне редко что-нибудь нравится. Ваш маленький рассказ «Лось» — это бриллиант, сверкнувший среди мусора, которым завалены наши журналы. Я прочитал его вчера, перед сном, и сегодня у меня целый день стоит перед глазами изъеденное молью чучело лосиной морды... В маленьком, коротеньком рассказе сказали Вы об очень многом. Здесь и людское равнодушие к умирающему человеку, здесь и ужас перед потерей единственного близкого человека, и яркое, чудовищно беспощадное сопоставление тоски бессмысленно убитого зверя с тоской умирающего человека... Спасибо, что вы не обсююкали «нашего современника», что вы не создали конфликта между сознательным изобретателем и директором-бюрократом, а только вызвали чувство грусти и заставили крепко задуматься какого-то старика. Вы сделали именно то, что должен делать писатель. Писатель с большой буквы. И верьте мне, что старик этот не одинок, что человеку свойственно чувство любви к прекрасному, что никакая армия критиков, никакие установки и высказывания не смогут убить в человеке свойственную ему любовь к правде и красоте... Б. Ситников». 1963 г.

«Дорогой Василий Семенович! С наслаждением прочел Ваш рассказ в последнем номере «Н. Мира». («Несколько печальных дней», № 12, 1963 г. — Ф. Г.) Тонко, деликатно, грустно. И почему это от грустных рассказов испытываешь больше наслаждения (может быть, другое слово надо?), чем от негрустных? И тут же захотелось перечитать «Лося». И то же ощущение... Очень хорошие рассказы! И как мало их сейчас. И нескоро, вероятно, будут... Ваш В. Некрасов». 29.01.1964 г.

Весной 1963 года у Гроссмана неожиданно проявила себя болезнь

почек. Еще недавно он писал: «Только что у меня был доктор Райский, нашел мое состояние хорошим, давление 140 на 80, очень хорошее. Давно такого у меня не было...» 4.10.1962 г. После врачи отнесли начало болезни к 1961 году, году ареста «Жизни и судьбы». Я проводил Гроссмана до Боткинской больницы. Для близких и друзей писателя наступили тревожные дни. Овидий Горчаков, писатель и легендарный разведчик, бывший учеником Гроссмана, предложил для пересадки свою почку. Была сделана операция, но болезнь (рак) оказалась запущенной. Поправлялся Гроссман трудно, медленно. «Дорогой Василий Семенович! Ольга Михайловна говорит, что Ваш организм неважно борется с болезнью. Какая тут причина? Физиологическая или моральная?..» О. Горчаков. 21.06.1963 г. Арест романа продолжал оказывать свое губительное действие.

В сентябре 1963 года Гроссман лечился в санатории Министерства обороны «Архангельское».

«У меня жизнь наладилась — работаю, гуляю, читаю, сидя в парке. Стал чувствовать себя лучше — силенок прибавилось, бок (рубец) не болит, в общем, получше...» 4.10.1963 г.

Гроссман казалось, что еще немного и он будет здоров: «Только что был в Боткинской, встретили меня как родного — ох, если б меня в редакциях так хорошо встречали. Гудынский смотрел меня, посмотрел санаторные анализы — остался очень доволен...» 9.10.1963 г.

Однако через несколько месяцев началось ухудшение. Василий Гроссман умер 14 сентября 1964 года в отделении химиотерапии 1-й городской больницы. На гражданской панихиде писателя в Доме литераторов присутствовали в основном читатели, а не писатели, хотя К. Паустовский, И. Эренбург, А. Бек, Е. Воробьев пришли. В крематории Донского монастыря прощальное слово произнес Семен Липкин:

«Василий Семенович Гроссман стоит в ряду первостепенных русских писателей, в том самом ряду, где значатся имена Чехова и Короленко... Если из множества определений искусства выбрать то, что искусство есть величайшее выра-

жение действенной любви к людям, к правде, к добру, то мы наилучшим образом пойдем Гроссмана как художника. Все, что он писал, от первых страниц, опубликованных ровно тридцать лет назад, до последних, еще не опубликованных, продиктовано одним всепоглощающим чувством — любовью к людям... Он был человеком бесстрашным. Он не знал страха и тогда, когда, уже овеянный легендой, был в Сталинграде с бойцами Родимцева на самом переднем крае жизни, там, где уже начиналось государство смерти. Он не знал страха и тогда, когда на него обрушились другие беды, когда наконец жестокая тирания злокачественной болезни овладела им, чтобы свести его в могилу. Он был мыслителем, и с беспощадным, резким светом мысли он не расставался до последнего часа своей многотрудной жизни...»

В этих записках о Василии Гроссмане не могу не рассказать о моей матери Ольге Михайловне Губер, которую с писателем связывали десятилетия огромной любви и преданности. Многие годы она была писателю верным другом и помощником, все его послевоенные произведения перепечатывала она, причем обычно по несколько раз, так как Гроссман по многу раз переписывал фразы или целые страницы. Она была хозяйкой хлебосольного дома, почти каждый день у нас кто-нибудь бывал. С Гроссманом их связывала и радость опубликованных книг. На экземпляре «За правое дело», подаренном маме, он написал: «Дорогой Люсе, настоящему участнику этой книги и долгих многих тягостей, связанных с ее судьбой».

Мама разделила с писателем страшные для него периоды жизни в 1953—1954 и 1961—1964 гг. В начале 1953-го говорили о том, что для евреев уже огорожены колючей проволокой места будущего проживания, подготовлены эшелоны. В связи с этим Гроссман сказал: «Я ни на секунду не сомневаюсь, что Люся с ее дворянским происхождением села бы со мной в этот эшелон».

В тяжелые дни войны он писал Ольге Михайловне: «Мое ясное солнышко, сегодня приехал и сегодня счастливейший мой день. Письмо

и милая посылочка твоя, подробный доклад Твардовского (побывавшего в Чистополе. — Ф. Г.), которого я замучил расспросами о тебе — «а как она выглядит и что делает, улыбается ли?» Ну, словом, тысячу вопросов. Но мало того, Эренбург прислал твои письма... 5 писем! Мало того — открытка, посланная тобой на 28-ю (полевую. — Ф. Г.) почту. Можешь, Люся, гордиться — столько счастья человек доставил человеку, словно ты и не человек, а божество. Спасибо тебе, ненаглядная, за эту несказанную радость. Получил милые открыточки от Миши и Феде. Я привязываюсь к ним все больше и люблю их. Моя хорошая жена — будь крепкой душевно, береги себя и ребят, я ведь должен снова вернуться к тебе и продолжить нашу неразлучную жизнь... Я часто думаю — ох, должно быть крепко люблю я тебя, если вся эта огромная масса событий, сотни ярких людей, сотни удивительных происшествий ни на миг не ослабляют моей тоски по тебе — она, словно огненная игла, прошла меня всего...» 25.02.1942 г.

В 1956 году в отношениях между мамой и Василием Гроссманом наступил тяжелый для них обоих период, длившийся до 1959 года и подвергший эти отношения нелегким, мучительным испытаниям.

«Дорогая Люся... пишу тебе потому, что не могу не написать, да и должен сказать о всяких событиях в моей жизни. Мы условились с «Н» встретиться и поговорить. Поэтому я поеду в Ленинград, остановлюсь в гостинице («Н» в Комарово). Совершенно правдиво говорю тебе — я ничего не могу сказать о дальнейшем... Знаю только, что на сердце у меня тоска, тяжесть, туман... Люся, я один знаю все, чем обязан тебе в этот тяжелый, забравший столько душевных сил моих период жизни. Целую тебя, Вася». 4.02.1958 г.

С 1959 года Василий Гроссман снова жил с нами. О чем он говорил с мамой в день возвращения, останется навсегда для меня тайной — при ее жизни спросить маму об этом я не решился.

В период болезни мужа мама проявила настоящую самоотверженность. Все это время Гроссман был

окружен заботой как мамы, так и родных и близких друзей.

После смерти Василия Гроссмана Ольга Михайловна Губер хранила весь его архив — произведения, дневники, письма его и читателей к нему, другие материалы, связанные с Гроссманом, что было не просто, а временами и опасно. Более 20 лет посвятила она работе над архивом. С огромным трудом удалось опубликовать «Тиргартен», «Добро вам!», «Собаку», «В Кисловодске», однако с редакторскими сокращениями. Удалось ей опубликовать значительную часть фронтовых дневников. Мама подготовила и представила в 1966 году в издательство «Художественная литература» 5 томов намечавшегося, но не вышедшего собрания сочинений Гроссмана. Ольга Михайловна Губер подготовила к публикации полные тексты вышедших с сокращениями и ранее не издававшихся произведений «Добро вам!», «В большом

кольце», «Фосфор», «Сикстинская мадонна», «Мама» и других. Умерла Ольга Михайловна Губер 22 июня 1988 года. Похоронили ее рядом с Василием Гроссманом на Троекуровском кладбище. В заброшенной, заросшей части кладбища черная плита, лежащая у подножия поставленного мамой памятника писателю, напоминает о ней.

... О возвращении к читателю романа Василия Гроссмана «Жизнь и судьба» я подробно писал («Книжное обозрение», 1989 г. № 10). Здесь я хочу еще раз сказать, как благодарны должны быть мы все, кто любит и читает Гроссмана, тем, кто спас для человечества дело его жизни, — и Семену Липкину, и Вере Ивановне и Вячеславу Ивановичу Лободе, и всем известным и неизвестным участникам его первой публикации за рубежом, и Анатолию Ананьеву, благодаря гражданскому мужеству которого «Жизнь и судьба» появилась на родине писателя.



Сигисмунд Видберг.
Из цикла
«Беженцы».
На санобработке. 1950

ЕСТЬ НАЦИИ, И ВОПРОСЫ ОСТАЮТСЯ

- Дело интеллигенции, как латышской, так и русской, не разжигать страсти, а смягчать их.
- Вопиют безгласные могилы и засыпаны немотой молчания рвы, в коих попеременно зарыты христиане, иудеи, магометане, атеисты и детишки.
- Дружить могут равноправные субъекты, а не метрополия с колониями.
- Для одних «маяк демократии», для других же — «гнездо националистов и русофобов».

(Строки из писем)

«... Некоторое время все молча стояли в коридоре, с интересом разглядывая друг друга Для разгона заговорили о Художественном театре. Гейнрих театр похвалил, а мистер Бурман уклончиво заметил, что в СССР его, как сиониста, больше всего интересует еврейский вопрос

— У нас такого вопроса уже нет, — сказал Пиламидов.

— Как же может не быть еврейского вопроса? — удивился Хирам.

— Нету Не существует.

Мистер Бурман взволновался. Всю жизнь он писал в своей газете статьи по еврейскому вопросу, и расстаться с этим вопросом ему было больно.

— Но ведь в России есть евреи? — сказал он осторожно.

— Есть, — ответил Пиламидов.

— Значит, есть и вопрос?

— Нет. Евреи есть, а вопроса нету».

Это говорит один из персонажей «Золотого тельца». Но, надо полагать, в это искренне верили сами авторы романа. Тем более что, принадлежа к разным народам, они по-настоящему были дружны. К тому же в этом убеждала советских людей и сама сталинская Конституция, и сталинский же знаменитый труд «Марксизм и национальный вопрос», и бесчисленные парадные речи на торжественных собраниях. Следовало считать, что, хотя нации есть, национального вопроса нет. Он считался раз и навсегда решенным.

Разумеется, так оно и должно было быть в самом передовом на земле обществе. Если бы оно таковым действительно являлось.

Национальная грызня, поиски причин всех бед в другом народе, в людях другой веры или другого цвета кожи — явление позорное и глупое. Тем не менее оно существует. Есть (и никогда не переставал быть) еврейский вопрос. И если бы только еврейский! Есть, как оказалось, и латышский вопрос, и абхазский, и татарский, и даже русский. И отнюдь не в той плоскости, в какой ставил его К. Симонов в своей известной пьесе.

Конечно, можно такие вопросы обсуждать в печати, а можно и не обсуждать. Можно делать вид, что таких вопросов у нас нет. Однако — если исходить не из желаемого, а из действительности, споры на национальную тему, какую нелепую форму они бы ни принимали в наши дни, достойны отражения в печати. Тем более что ведутся они не только в очередях или на коммунальных кухнях. Как видим, на эти темы дискутируют известные ученые и популярные писатели.

Об актуальности темы свидетельствует читательская почта. Авторы писем высказывают самые противоречивые мнения по одним и тем же проблемам. И мы решили их не комментировать, пусть судят сами читатели.

«РАДИ ЧЕГО?»

Я не знаю, кто по национальности автор «реплики» «Око за око? . . .», напечатанной 15 августа 1990 года в «Литературной газете» по поводу опубликованной в «Даугаве» переписки Н. Эйдельмана и В. Астафьева, но знаю твердо, что чувство национального самосознания, обычное человеческое достоинство, элементарное самолюбие у автора «реплики», мягко говоря, довольно своеобразные.

Что же позволило ему расценивать публикацию в «Даугаве» как «вызов всем нравственным нормам, здравому смыслу и культуре», «обыкновенное пиратство»?

Что позволило автору «реплики» причиной «соучастия» в публикации «Даугавы» считать «только две равно соблазнительные причины. Стремление призвать к покаянию и стремление отомстить»? Мало того, автор утверждает: «дороже справедливости. гражданский мир, покоящийся на готовности ко взаимному прощению». И уж вовсе, на мой взгляд, дико звучит призыв: «Не око за око», и «глаз вон» именно тому, кто «старое помянет». Нравится нам это или нет, хотим мы того или не хотим, а иначе не выйдет».

Жутко становится, если вдруг представить себе, что такую теорию и практику унижения и беспамятства начнет исповедовать государство по отношению к какому-либо народу, тем более к «малому», к «инородцам», «не коренным». Почему?

Человечество до сих пор не придумало ничего более убедительного и почитаемого, чем справедливость и правда. Без правды, какой бы неприглядной она ни была, ничего еще не было в мире создано надолго.

История учит. любое неравноправие, проявление воли сильного перед слабым, и напротив, желание улажить, откупиться, терпеть унижения ради «прощения» никогда не приводили к благоденствию. Это самообман. И кому, как не еврейскому народу, это знакомо, проверено тысячи раз на протяжении многовековой истории взлетов и падений.

Не все, может быть, знают, что даже Гитлер, объявивший государственный геноцид по отношению к еврейскому народу и уничтоживший 6 млн. евреев, не всех отправлял в газовые камеры. Часть евреев, их называли «нюхтлихе юде» — полезные евреи, а это были ремесленники, портные, рабочие с «золотыми руками», остались жить. И пусть жили они в гетто, с желтой звездой на груди и белыми буквами «NJ», пусть не имели никаких прав, пусть относились к ним, как плохой хозяин к скотине, но они тоже знали: нравится им это или не нравится, хотя бы того или не хотя, а иначе не выйдет.

К чему же призывает А. Архангельский, почему отождествляет публикацию в «Даугаве» с теорией «око за око»?

Неужели вскрытие опухолей, а именно такой «опухолью» и является выпестованной нашей лицемерной «национальной политикой» так называемый «еврейский вопрос» (переписка Н. Эйдельмана с В. Астафьевым — часть этой «опухоли»), и есть призыв «око за око»? При таком подходе на любую критику национальной дискриминации можно навесить такой же ярлык. Сидите молча, евреи, пока не поздно. Пока не вырезали вас окончательно. Пока не перешли от слов к делу те, кто сегодня открыто на площадях и митингах «Памяти», да и не только «Памяти», обвиняет весь еврейский народ во всех бедах «Большого народа», призывает к смирению и покаянию. . . пока не поздно.

Итак, написать правду, опубликовать то, что передавалось из рук в руки исподтишка, — пиратство, а исповедовать теорию палки о двух концах — нормальное явление.

Почему эгичими считается смотреть спокойно, как уже несколько лет при молчаливом согласии русской интеллигенции несколько всероссийских журналов травят еврейский народ, унижают и оскорбляют его национальные чувства, разжигают позорные отношения в стране, а сказать правду об одном небольшом эпизоде из этой «оперы» — незачем?

Почему А. Архангельский с верноподданнической дрожью в голосе восклицает «Вам что, уважаемые безымянные публикаторы, не хватает подписи Виктора Астафьева под «Письмом 74-х»? . . . тогда давайте, давайте поднажмем, может быть, и удастся вывески писателя-фронтовика из равновесия,

спровоцировать на новый приступ раздражения, чтобы словесный удар, направленный на евреев, описав круг, бумерангом рухнул на русскую культуру»

О, боже, неужели это святая наивность? Похоже — нет. Ради чего А. Архангельский повторяет призывы черносотенцев времен гражданской войны? Тогда, скажем, в газете «Киевлянин» неизвестный Шульгин с аналогичными призывами обращался к еврейскому народу, заклиная «не раздражать» русское население, вести себя тихо, не участвовать в революционной смуте, если не желаете продолжения «пытки страхом»

Не аналогичную ли «пытку страхом» устроили еврейскому народу в конце XX века в стране «победившего социализма» новоявленные шульгины?

Теперь, видите ли, весь бред и «раздражение», направленные против евреев, могут бумерангом рухнуть на русскую культуру. А вот этого-то допустить и нельзя.

То, что довели евреев до состояния панического бегства, всеобщей эвакуации с родной земли, где лежат десятки поколений предков, где рождались и не однажды насильственно умирали их вера, надежда и любовь, где простые люди вокруг — не питают неприязни, а только с удивлением в очередной раз смотрят на происходящее, — это не страшно. И все же можно и нужно забыть и простить. А вот сказать правду, которая, не дай бог, может бросить тень на некоторых представителей русской культуры, — упаси боже, могут обидеться. Не должна Моська лаять на слона, если у этой Моськи есть мозги

В том же номере «ЛГ» Леонид Бежин пишет (это после всего того, что было вылит в прессе на головы еврейского народа, «злодейского племени»). «Первичное размежевание несло в себе нечто отвлеченно-теоретическое и возвышенно-созерцательное (споры за истину), а ныне это грубая брань, настолько грубая, что приличному человеку о евреях и русских говорить-то стыдно »

Может быть, русским по крови или тем, кто стал «русским», специально сменить фамилию и запись в пятой графе, и стыдно. Мне же и, уверен, тысячам «жидовских морд», которые гордятся своей нацией, своим вечным народом, стыдно, обидно и больно не столько читать в журналах, газетах и слышать на митингах, на улице, по радио и телевидению антисемитские разглагольствовиния и речи, сколько убеждаться в их полной безнаказанности

8 августа в той же «ЛГ» А Стреляный пишет. «Фашизм — это самое грозное оружие патриотов, его ядерная бомба . . . на совести патриотов усилившаяся эмиграция евреев. . . с точки зрения просвещенного русского националиста, это величайшее преступление перед Россией, они опозорили Россию в глазах мира, вызвали крупную утечку мозгов, вместо того, чтобы спокойно заканчивать ассимиляцию евреев, доваривать их в российском котле, освежая национальную жизнь этим сильным элементом»

Вот так вот Откровенно. Только ассимиляция! На это «просвещенная» русская интеллигенция согласна. А если история когда-нибудь сыграет, не дай бог, злую шутку с русскими и предложит им насильственную ассимиляцию? Так ли тогда будут рассуждать «просвещенные»?

Именно благодаря изуверской, я бы сказал — расистской, позиции сегодня у нас в стране спокойно относятся к спровоцированным, а часто и инспирированным межнациональным конфликтам. В той же «ЛГ» В Соколов, редактор газеты по социально-экономическим проблемам, пишет. «Ладно бы землетрясение, взрыв трубопровода, выброс фенола или новые погромы — можно возвести очи горе, показывая, как ты погрязен. . . и население почти привыкло . . . и потерям в своем числе уже не удивляются. Но урожай! . . .»

И это в стране, которая 70 лет тому назад провозгласила своей главной целью свободу, равенство, братство, справедливость, интернационализм. Именно эти идеи, очевидно, воспитали нынешнего члена Политбюро ЦК КПСС, первого секретаря ЦК Компартии РСФСР И Полозкова, который (см. «Правду» 6 08 90 г.) ничтоже сумняшея провозглашает шовинистические идеи « . Коммунисты сегодня должны выражать интересы тех, кто «сидит на зарплате» А интересы фарисеев, менял и торговцев, изгнанных Иисусом из храма, но реабилитированных впоследствии папой римским, пусть защищает другая партия » Чего здесь больше черносотенства, великодержавного шовинизма или бездарности?

Чего уж предъявлять претензии к секретарю Правления Союза писателей СССР А. Проханову, который на платформе «русского фактора» предлагает «сбросить с себя руку, выходясь, неблагодарных соседей», но все-таки «сохранить триединство славян, глубинное, проверенное десятью веками братство...»

А что же делать остальным, живущим те же десять веков на этой многогрядной земле?

Я уже не говорю о писателе, члене Президентского совета В Распутине, который в интервью американскому журналу призывает евреев к покаянию «Они должны почувствовать ответственность за террор, который существовал во время революции и особенно после нее»

А вот мнение «Прогноз» («Век XX и Мир», № 3, 1990 г.): «... широко участвуя в большевистской революции, дав ей кадры интеллектуалов и организаторов, евреи спасли Россию от гоголевой пугачевщины. Они придали большевизму наиболее гуманный вариант из вообще возможных в то время. Русский народ вовлек евреев в революцию в своих, русских целях — ни один другой народ в мире не сделал для русской нации так много полезного...»

Но вернемся к статье А. Архангельского. Ибо тема эта так многопланова, что, направляясь в любую сторону, политическую, экономическую, социальную, философскую, историческую, — мы упираемся в белые пятна, точнее, в черные пятна нашей жизни. В статье этой автор упрекает «писателя с безупречной репутацией — Юрия Карабчиевского» за согласие участвовать в «обыкновенном пиратстве». И в этом, в какой-то степени, можно согласиться с А. Архангельским. Ибо «участие» это свелось не столько к осуждению покойного Н. Эйдельмана, сколько к очередному увещиванию «оппонента». И мне критика А. Архангельским Ю. Карабчиевского кажется все же странной, ибо взгляды их не так уж разнятся. Судите сами. Вот что говорил Ю. Карабчиевский в интервью (снова все та же «ЛГ», только за 4.07.90 г.) «Я вообще с уважением отношусь к космополитам, достойная, достойная, я считаю, позиция и для многих, видимо, плодотворная. Но мне такой способ жить недоступен. Я привязался не только к этой культуре, но и к этой земле, и ко всем ее ужасам... Многие из уехавших и уезжающих говорят, что это конец эпохи, что двухсотлетнее пребывание евреев в России кончилось. Что ж, если так, то кончилось и что-то еще. Русское еврейство, то есть народ, к которому я имею честь принадлежать, — это кровная... неотторжимая часть русской жизни и русской культуры».

Что касается уважения к космополитизму, то я не считаю эту позицию достойной, разве что вынужденной. Ибо «гражданин планеты» — такая же в обозримом будущем утопия, как все то прекрасное, к чему нас, лицемерно юродствуя, семидесят лет призывали. У каждого человека есть свой дом, обычаи, религия, земля, только любя которые он может любить и уважать язык и традиции соседа. Космополит сегодня — это человек, который любит всех вообще и никого конкретно, включая себя.

Что же касается «русского еврейства», то, снова же, было бы неплохо услышать об этой русскости от русско-российского писателя (новач придуманная разбивка на русскоязычных и россиян — разве это не шаг к дискриминации), такого, скажем, как Василий Розанов — этого русского писателя, публициста и философа невозможно заподозрить в юдофильстве. Вот что он писал в работе «Почему на самом деле евреям нельзя устраивать погромы?». «... Евреи — самый угнетенный народ в Европе. Только по глупости и наивности они пристали к плоскому делу революции. Я за всю жизнь никогда не видел еврея, посмеивающегося над пьяным или над ленивым русским... Я был поражен, что, несмотря на побои (погромы), взгляд евреев на русских, на нашу русскую, на самый даже несносный характер русских — уважителен, серьезен. И вообще, злого глаза, смотрящего украдкой или тайно за спиной русского, у еврея не видал...»

Итак, ради чего? Зададим себе этот сакраментальный вопрос А. Архангельского. Ради чего была написана «реплика» «Око за око»? Создается впечатление, что не ради выяснения правды. Не ради того, чтобы честно рассказать о тотальном исходе евреев с земли, которую абсолютное большинство считают своей Родиной и любят, если и не остановить тех, кого десятилетиями здесь считали людьми второго сорта, и все делали для того, чтобы побольше оскорбить, то хотя бы сказать перед расставанием правду, которая уже не

евреям нужна — они ее знают (впиталась в сердце и душу бесчисленными и несправедливыми синяками), а русским в первую очередь. Ибо не признаваться самому себе в совершенной низости по отношению к товарищу — значит требовагь либо еще большего нагромождения зла, либо болезненного раскаяния перед Богом, перед дегьли, перед Совестью. И рано или поздно издевательства над моралью, над нравственностью, над правдой — оборачиваются большой трагедией. Трагедией для всех. А то, к чему призывает А. Архангельский, — каяться в своих грехах, против прежде чужие (снова пресловутая «палка о двух концах»), — может вызвать лишь сардонический смех, тем более, что предлагаемый путь Архангельский считает единственным, «хотим мы того или не хотим».

Старо это все. И было. И желание обидчика стоять перед законом на одной доске с жертвой еще никогда не заканчивалось миром. Ни для кого.

А Бураковский, г. Киев

НАМ СТЫДНО ЗА БОЛЬШОГО ХУДОЖНИКА

Редактору журнала «Даугава»

Просим Вас опубликовать в Вашем журнале наше короткое письмо писателю В. Астафьеву как отклик на его переписку с Н. Эйдельманом «Виктор Петрович!»

В своем печально знаменитом рассказе о ловле пескарей в Грузии, так же, как в переписке с Н. Я. Эйдельманом, Вы не только оскорбили грузин и евреев, но в их лице — всех нерусских, проживающих в нашей стране. Заодно Вы в письме к Н. Я. Эйдельману позволили себе презрительно высказаться о международном языке эсперанто, на котором сейчас говорят и пишут несколько миллионов человек во всем мире. Язык этот существует уже более 100 лет. Не задевая ничьей чести, он способствует общению между людьми различных национальностей. Вы же не примете ничего, что не укладывается в ваше восприятие. Выпады против целых народов и прогрессивных, хоть и непримлемых для Вас, идей к добру не приведут.

Нам стыдно за большого художника, автора «Царь-рыбы», одного из выдающихся произведений советской литературы»

Б. В. Кондратьев,
Ж. В. Штипельман,
г. Ленинград

НЕ ЗАБЫВАТЬ ГЛАВНОГО!

Уважаемый главный редактор!

На днях прочитала в «Даугаве» № 6 «переписку» Н. Я. Эйдельмана с В. П. Астафьевым. Хотя, какая это переписка? Просто обмен письмами. Переписка подразумевает хоть какое-то единомыслие и уважение друг к другу авторов писем. Опубликование двух писем Эйдельмана и письма Астафьева — хороший поступок редакции «Даугавы» перед читателями. Спасибо вам за эту публикацию. Комментарий Ю. Карабчиевского к этим письмам — малозначительный, тенденциозный опус, созданный автором исходя из конъюнктурных

соображений. Ведь очень привлекательно предстать перед читателем в роли «долбателя» Астафьева. Да и покойный Н. Я. Эйдельман, замечательный историк, видимо, тоже был обуреваем жаждой приобрести более широкую известность, когда наметил в качестве мишени для критики действительного мастера русской литературы В. П. Астафьева.

Обвинение В. П. Астафьева в антисемитизме — чепуха. Не он болен этой болезнью, ею болен весь народ, проживающий в стране, которая занимает одну шестую часть суши планеты. И антисемитизм — всего лишь частный случай общей болезни, поразившей почти поголовно все население огромной державы. Ненависть, злоба процветают не только в отношениях людей разных национальностей, но даже в семьях, где должны править любовь да совет, находим мы неприязнь и отчужденность. Нет оправдания тупости людей, кричащих, что во всех бедах России виноваты евреи. Примитивный, грубый взгляд на жизнь. Но такую же цену имеют крики, что евреи — жертвы притеснения. «Удивляюсь молчанию казахов, бурятов», — пишет Эйдельман в первом письме. Но молчат и русские, молчат украинцы, белорусы. «Од молдованина до фіна на всіх языках все мовчить», — писал еще в прошлом веке апостол украинского народа Тарас Шевченко.

Не молчат евреи, начали вещать русофилы, украинцы, малочисленные народы Севера и Дальнего Востока и т. д. и т. п. Плохо, что очень многие из этих вещателей и крикунов находят кровных врагов в образе целых народов. Истину так не найдешь. Похоже это на разозленного человека, который ломает в гнев первую попавшуюся вещь. А верное замечание сделал историк Эйдельман во втором письме «не „сионист Юровский“, а большевик Юровский». Хотя сделать большевиков козлами отпущения за национальные конфликты — это не значит решить их. Правозащитника В. Буковского в семидесятые годы западный журналист спросил «Сколько политзаключенных в СССР?» Тот ответил, что политическими заключенными являются все жители СССР — оплота и гаранта социалистического лагеря. Все мы притеснены и все обделены. Зачем громче всех кричать о «бедных евреях», разве судьба крымскотатарского народа, опустошенного голодом 1933 года украинского народа, развращенного пьянством русского народа предпочтительнее? Нужно разоблачать скудоумные настроения антисемитов, но объявить В. П. Астафьева, который силой своего огромного таланта, изобразил реальную жизнь своих соотечественников, пособником ярых националистов — это желание приобрести большую известность на имени русского писателя. Уважаемый главный редактор! Обратитесь к Иосифу Бродскому. Пусть он даст оценку творчеству В. П. Астафьева, если он, конечно, сочтет возможным трансформировать свое художественное дарование в плоскость национально-политического анализа. Это будет продолжением темы.

Но давайте не забывать главное в трудах писателей и историков — не письма, которыми они обмениваются друг с другом, а их литературные и исторические произведения.

С уважением

В СОСНИН,
г. Днепрпетровск.

МЫ СТАНОВИМСЯ БЕДНЕЕ

Пишу письмо на одном дыхании, так что заранее прошу извинения за некоторую, быть может, сумбурность и помарки, но пишу искренне, от всего сердца.

А побудила меня к этому письму большая публикация в разделе публицистики «От слов к делу?», в которую вошли не только переписка между Н. Я. Эйдельманом и В. П. Астафьевым, но и прекрасная, неповторимая по злободневности статья Юрия Карабчиевского, а заодно и косноязычное интервью, данное В. П. Астафьевым французской газете. Надо иметь мужество, чтобы в пик антисемитизма в России опубликовать всю эту подборку.

Если бы мысли и чувства, присущие вашим авторам, передавались всем, кто населяет страну, то, может, когда-нибудь прекратилось бы мракобесие в отношении евреев.

Шутки в сторону. Никто не пресек в свое время «Память», и пятая колонна пошла триумфально шествовать по России. Но каково тем евреям, которые еще

остаются? Они любят Россию, у них душа — России. Здесь похоронены близкие, родные, это их земля, горы, воды. Они наравне с другими народами творят, создают. А итог? Эмиграция! Как это больно и ужасно! А, собственно говоря, за что? И кто на очереди после последнего еврея? Наверное те, кто издают прогрессивные журналы и газеты.

Прошу вас, не оставляйте этой темы. Может быть, что-то изменится в душах тех, кто думает так, как некоторые расисты-писатели. Кое-кто из них стал даже депутатом. Кто же им покровительствует? А мы говорим евреям: «Оставайтесь, не бойтесь!» Нет, не оставайтесь, бегите и как можно быстрее, спасайте детей и себя. Ваши души могут очерстветь, а это ужасно. Не озлобляйтесь и простите.

Да, я прошу прощения за всех русских, которые молчали, когда это началось. В слово «русские» я вкладываю только понятие «жители России», а не национальность.

Моя любимая, родная подруга уезжает. Я ее сама уговорила это сделать. А у меня рана в сердце.

Мы становимся беднее, ибо покидают нас не пьяницы и воры, а интеллектуалы, интеллигенты.

С. ШОЙХИЙ
г. Харьков

НЕ О ТОМ ВСЕ ЭТО

Об этой переписке я слышал и раньше. Но вот теперь прочитал. Два очень уважаемых мною человека переобращаются руганью, а третий — Юрий Карабчиевский — дает всему этому обширный комментарий.

Но дело тут не в самой переписке, дело в отношении двух народов друг к другу.

Евреи и русские. Юдофильство и юдофобство.

Тема давняя и воспринимаемая очень болезненно теми и другими, хотя, на мой взгляд, не стоит выведенного яйца.

Натан Эйдельман и Юрий Карабчиевский долго, на нескольких журнальных страницах, упрекают Виктора Астафьева в непочтительном отношении к евреям. Прочитав написанное ими, захотелось им возразить. К сожалению, Натану Яковлевичу уже не возражать. Возражаю Карабчиевскому.

Возмутили критика слова Астафьева. «В своих шовинистических устремлениях мы можем дойти до того, что пушкиноведы и лермонтоведы у нас будут тоже русские и — жутко подумать — собрания сочинений собственных классиков будем составлять сами, энциклопедии и всякого рода редакции, театры, кино тоже «приберем к рукам» и — о ужас! о кошмар! — сами прокомментируем дневники Достоевского».

Написать это заставило его, конечно, высказывание Эйдельмана о том, что о грузинских недостатках может писать только сам грузин, а о казахских — казах. Слова Астафьева: «По дикому своему обычаю, монголы в православных церквях устраивали конюшни», — он считает «расистскими». Что касается меня, это непонятно. почему? Было ведь, историю не переделаешь, хоть теперешние монголы, возможно, и самый цивилизованный народ. Было, как и то, о чем писал Толстой (его слова приводит Эйдельман). Все были в свое время дикими, и слава Богу, если это время ушло. И потом что же русский Хрущев, значит, не имел права разоблачать злодеяния Сталина-грузина?

Я о другом. Я вот о чем думаю. Ну почему нужно так болезненно реагировать на всякие выпады писателям-евреям вместо того, чтобы сказать честно и гордо: «Да, мы — евреи. Мы создали немалую часть мировой культуры».

Нельзя не согласиться с Виктором Астафьевым. Действительно, авторы-евреи составляют комментарии к произведениям русских писателей, пишут книги о русских писателях, о русской жизни. Тот же Натан Эйдельман. Не спорю, неплохо пишут. И отлично. Но где их книги о еврейской истории? Сотни лег живут в России евреи, но кто написал об этом хоть книгу? Не знаю, может она и есть, но запрятана так глубоко, что и не найти.

Когда речь заходит о сионизме, евреи замолкают или начинают оправды-

ваться Да почему же, черт возьми! Сионизм - такое же националистическое движение, как арабское, баскское и другие У нас же создали даже Анти-сионистский комитет, который возглавил (позор!) еврей — дважды Герой Советского Союза. Героя просто так не дают, тем более еврею. Как же надо было запугать человека чтобы он пошел на этот пост! Израиль — прекрасная страна, народ которой в голубой пустыне своими руками создал сады, а наши писатели Цезарь Солодарь и иже с ним хают ее, как только могут. Правда, они заявляют, что, дескать, не народ ругают, а правителей. Льется еврейская кровь, свыше сорока лет терроризируют евреев арабы, а наши еврейские писатели проклинаят за это евреев

Астафьев в беседе с Дм. Савицким ляпнул «. . . антисемитом большим рн (г. е. Эйдельман — В. К.) меня сделал». Все это чепуха. Не могут быть русские люди антисемитами, потому что в крови у русских интернационализм Они же молятся еврею Иисусу Христу. Да, я согласен с Карабчиевским. могла московская дворничиха сказать. «Так бы этих черножопых армяшек всех до одного передавить» Но, во-первых, откуда он взял, что она — русская? Как правило, дворники в Москве — татары или лимитчики, а лимитчики — народ без нации. А во-вторых, почему она это сказала? Не от хорошей жизни. Вот говоря, в войну мы были дружнее. Да, были. Но тогда знали, что война — дело временное, вог разобьем врага, отстроим свои города, тогда заживем Но прошло 45 лет после войны, а мы живем все хуже и хуже. Тут уж начинаем врага искать русские — в «чернозадых», латыши — в русских. Казалось бы, вера должна объединить людей Ан нет, мусульмане-киргизы бьют мусульман-узбеков, а мусульмане-узбеки — мусульман-татар И тут уж и писателям, и крестьянам надо покумекать и сказать. нет, не еврей виноват, не русский и не узбек, а виноват тот строй, который навязали народу 73 года назад

Раньше других поняли это литовцы. А разобравшись, что к чему, они заявили. не надо нам ваших коммунистических прелестей, хотим жить самостоятельно Но как же, разве так просто отпустят! Ведь тогда Союз развалится, если захотят его покинуть. А кому он нужен, такой Союз?

Виталий Кленовский,
г. Никель

ПОЛУЗНАНИЕ МСТИТЕЛЬНО

С глубоким интересом прочел переписку Н. Эйдельмана с В. Астафьевым и статью Ю. Карабчиевского, интервью В. Астафьева — все, что увидело свет на страницах «Даугавы» № 6 Безусловно, творческие зигзаги В. Астафьева привели его к открытым великодержавным высказываниям, и этот талантливый писатель забрел в антисемитские дебри. Пытаясь выбраться из них, он прибегает к спасительным ориентирам — христианской морали. Но это лишь обнаружило недоученность писателя Астафьева, его приблизительное знакомство с творчеством гениев российской литературы. Прискорбно, что им это оценено как «перекипевший гной еврейского высокоинтеллектуального высокомерия»

Всякое полужанье мстительно и агрессивно Карикатура на грузинский народ в «Ловле пещерай» наверняка расценивается читающими грузинями как предисловие к апрельским событиям в Тбилиси Это очередная попытка очернить грузин (читай: всех лиц кавказского вида!) или обвинить «еврейчат» в бедах русского народа.

Конечно, быть бы «единой и неделимой Росси» — можно и поучить всяких там «косомордых», «еврейчат», студентов, прочих интеллигентшек, источающих «гною. . . высокоинтеллектуального высокомерия» — так ведь нет! — подавай им — народишкам! — суверенитет, автономию, возвращай их на земли, с которых согнал великий православный Вождь И. В. Сталин.

И напрасно, уважаемый Виктор Петрович, кивать на евреев, сионистов и латышей — убивали русского царя, преданного своими единокровными братьями, опыненные беззаконием и кровью простые русские люди тут от правды некуда деться. А что принимали в этом участие евреи и латыши, члены РКП(б) — это тоже равнозначная часть правды — никуда не денешься!

Вы, Виктор Петрович, ссылаетесь на умершую Вашу тетушку. Не будем тре-

вожить прах умерших! Но ведь вопиют безгласные могилы и засыпанные немой умолчания рвы, в коих вперемишку зарыты христиане, иудеи, магометане, атеисты и детишки, не приобщенные к лону церкви и не родившиеся на свет .

«Ни эллина, ни иудея» — вечный постулат, когорый переживет всех нас, как пережил и Н. Эйдельмана, хотевшего искренне приобщить Вас, Виктор Петрович, к добрым и верующим в милость Господа!

С уважением

Гарри Иванович Зубрис, читатель
г Херсон

БОЛЬШОЙ ПИСАТЕЛЬ — БОЛЬШАЯ МИШЕНЬ

В вашем журнале (№ 6, 1990) опубликована переписка Н Эйдельмана с В Астафьевым, о также комментарий к этому Ю Карабчиевского. Каждый читатель по своему разумению делает вывод по прочтению этих писем. Я же остановлюсь на комментарии, ибо давно не приходилось читать такого насрождения бег пардонной лжи и нелепиц, как в этой статье. Как много разлито в ней яды любви и ненависти!

Большой писатель — это большая и удобная мишень для современных бедных литературных словоблудов и пустообрехов (иначе, как и крыловская Мыська, не попадешь в историю). Что касается темы «Борьба с евреем», то это сейчас очень выгодная тема, за нее заплатят не только рублем, но и маркой, фринком и долларом. «Нет бескорыстных витий, особенно в литературе», — писал В Астафьев, и я с ним согласен. Наверно, он в мои защите не нуждается, но он у нас один, а Ю Карабчиевский и же с ним — их великое множество. Потому я и скажу слово в поддержку писателя. Любовь и сострадание к людям, непримиримость к подлости, дельчеству, нравственному и моральному распаду — вот главные мотивы всего написанного В Астафьевым.

Я знаю, что еще долго будут размазывать разведенное пожиже это письмо. «Я отвечу так конечно призываю к погрому. Не к убийствам пока, но выселений не избежать, а погром в культуре провозглашен однозначно и без вариантов», — с лицемерным трагизмом восклицает Ю Карабчиевский.

« . Чтобы писанное и не чувствовалось вовсе, а душа читателя таяла, знубило бы кожу у него и от восторга, от любви захогелось бы ему перецеловать, как мне когда-то, каждое деревце в лесу, каждый лист, каждую хвоинку, и был бы он счастлив тем, что есть мир прекрасный вокруг него, и он в этом мире есть сопричастный всему великому и живому, и понял бы он, человек, что назначение его на земле творить добро, утверждать его, не доводить человека до самоистребления и уничтожения всего живого на земле — есть истинное и высшее назначение литератора, в том числе и мое» — вот credo писателя В П. Астафьева («Посох памяти», Изд-во «Современник», 1980 г.)

П. ВЕРЕСОВ
г Сегежа, Кар АССР

ПОДУМАЙТЕ НАД ЭТИМ

Взяться за перо меня заставила публикация в 1-м номере вашего журнала статьи (или эссе, не знаю, как назвать) Татьяны Щербины «Большой смысл России». Текст этот не был для меня новостью, я слышал его по радиостанции «Свобода» и был крайне возмущен. Как радиостанция, вещающая на многомиллионную русскую аудиторию, могла выпустить в эфир памфлет, грубо оскорбляющий чувства русских? Случайный ли это «прокол» или определенная тенденция — не знаю.

И вот раскрываю первый номер вашего журнала, к которому до сих пор относился с уважением, и вижу гот же самый опус московской поэтессы. Опус, в котором русские объявляются народом шизофреников, не имеющих ни достойного уважения прошлого, ни сколько-нибудь осмысленного будущего. Нет смысла опровергать все эти злобные выпады, скажу лишь, что подобного рода суждения о целом народе по существу близки расизму.

И все это пишет женщина, считающая себя русским поэтом, пишет спокойно, с циничным равнодушием, надели, мол, разговоры об этой России. Но в конце

концов, ее право писать все, что угодно. Удивляет другое — позиция редакции, решившей это опубликовать. Шаг опрометчивый, если принять во внимание ту напряженность, которая существует сейчас между латышским и русским населением в вашей республике. Зачем же подбрасывать хворост в огонь?

Я — не великодержавный шовинист и считаю, что пакт Молотова—Риббентропа преступлением был по отношению к прибалтийским государствам. Более того, я — за независимую Латвию, но и тогда, когда эта независимость станет наконец реальностью, проблема взаимоотношений между латышами и русскими останется. не все же русские смогут вернуться на родину. И дело интеллигенции, как латышской, так и русской, не разжигать страсти, а смягчать их.

В том же номере «Даугавы» опубликовано открытое письмо ветерана Великой Отечественной войны из Ленинграда, протестующего против антисемитизма, все настойчивей проявляющего себя на страницах журнала «Молодая гвардия». Справедливое письмо. Похоже, однако, у редакторов «Даугавы» правая рука не знает, что делает левая. Ведь публикуя грубый антирусский памфлет, вы, по существу, опускаетесь на уровень той же «Молодой гвардии». Подумайте над этим

С. Г. СТРАТАНОВСКИЙ,
Ленинград

Авторы снимков в тексте: Харийс Бурмейстарс, Людмила Грицаенко.

Обложка художника
Андрея КАЛНАЧА

Сдано в набор 04.09.90.
Подписано к печати 16.10.90. Л-000054.
Формат 60×90/16. Книжно-журнальная бумага № 1,
мелованная бумага. Офсетная печать.
Обложка и вклейки — высокая печать.
8,0+0,25+0,25 усл.-печ. л., 9,75 усл. кр.-отт.,
12,67 уч.-изд. л. Тираж 98 000.
Заказ № 1431. Цена 45 коп.

Адрес редакции: 226081, Рига, ГСП,
Баласта дамбис, 3.
Телефоны: гл. редактор 466049,
зам. гл. редактора 465913,
отв. секретарь 465996,
отд. прозы и критики 465992,
отд. поэзии 465998,
отд. публицистики 465990,
техн. секретарь 465993.

Технический редактор
Мудите АРАЯ

Отпечатано в тип. Латвийского газетно-журнально-
го издательства,
226081, Рига, Баласта дамбис, 3.

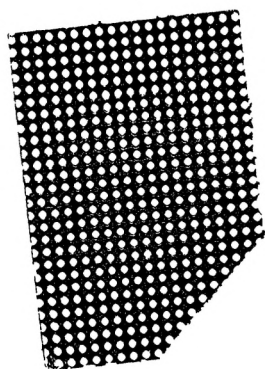
Корректор
Марина ВЕЙНБЕРГА



Сигисмундс Видбергс.
Из цикла «Страшный год».
Навстречу счастливой жизни. 1952

45 КОП.

ИНДЕКС 77121



ISSN 0207-4001, «ДАУГАВА», 1990, № 11, 1-128

